

ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ II

РАССКАЗЫ

Сборник

Вечное возвращение.
Книга 2: Рассказы

«Языки Славянской Культуры»

2016

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Сборник

Вечное возвращение. Книга 2: Рассказы / Сборник —
«Языки Славянской Культуры», 2016

ISBN 978-5-9551-0764-6

«Вечное возвращение. Повести» – сборник знаковых произведений талантливых писателей 20 – 30-х годов XX века, незаслуженно забытых и практически не публикуемых современными издателями. Целью выхода в свет этой книги является популяризация произведений русских прозаиков классической литературной школы, знакомство с которой особенно полезно при нынешней вакханалии литературных авантюрных проектов.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-9551-0764-6

© Сборник, 2016
© Языки Славянской
Культуры, 2016

Содержание

Николай Зарудин	5
«Что-то неведомое творилось на земле»...	5
Древность	19
Грань первая	19
Грань вторая	23
Иван Касаткин	29
«Очень недурно, очень!»	29
Лоси	31
Дело праздничное	36
Александр Неверов	38
Гуманный...	38
В плену	41
Веселые ребята	51
Иван Макаров	60
Мучительный выбор Ивана Макарова	60
Смерть	62
Остров	72
Евгений Федоров	80
Судебное дело	80
Конец ознакомительного фрагмента.	94

Вечное возвращение. Книга 2

Михаил Литов, Людмила Толич

Николай Зарудин

«Что-то неведомое творилось на земле»...

Глава из книги «Заметки читателя»¹

Странный писатель Николай Зарудин, тревожный, путанный, темный даже в самых как будто ясных и выверено чистых порывах. У него путаница, положим, не расчетливая, но в том-то и штука, что он не останавливается на ее перепутьях, озадаченно почесывая, по нашему русскому обыкновению, затылок: вон чего я нагородил! – напротив, он всегда в смутном и воинственном возбуждении и, неуловимый в существе своего писательского образа, рисуется воображению каким-то варягом, который под сенью рюрикова мифа просочился из саговых древностей, обжился у нас, прижился, а как вздумал писать, так и сказался вдруг гостем. В предисловии к сборнику зарудинской прозы «В народном лесу» (1970) Валентина Дынник пишет: «Имя Николая Зарудина в тридцатые годы хорошо было известно любителям литературы. Но сейчас оно сохранилось в памяти только у самых старших поколений советских читателей. Они с грустной и нежной улыбкой порою вспоминают его стихи и прозу, от которых веяло какой-то особенной свежестью мысли и чувства, словно его творчество – порыв весеннего ветра, несущего с собой все запахи обновленной земли». Похоже, эта грустная и нежная улыбка старшего поколения толкает Дынник на женские подвиги трепетного и трогательного объяснения с покойным писателем. Тот в очерке «Старина Арбат», изображая возвращение вчерашних красноармейцев в Москву времен нэпа, пугался и пугал: «...мы не знали, куда девать свои огромные красные лапы», а она доверительно сообщает: «Николай Зарудин писал эти строки своей тонкой, бледной рукой. И писатель Зарудин не был неуклюж. Писатель Зарудин хорошо одевался – настолько хорошо, что одежда его была как-то незаметна, не бросалась в глаза, не отвлекала внимания от его красивого лица, от его изящного облика». Достигает взор очарованной исследовательницы и его «тонких городских ног, облеченных в щеголеватые клетчатые носки», – это о герое-журналисте рассказа «Спящая красавица», но Дынник без колебаний называет рассказ строго автобиографическим.

Итак, уже в семидесятые годы прошлого столетия имя Зарудина хранилось в памяти «только у самых старших поколений советских читателей». А почему? Писателю нечего было и рассчитывать на большее? И где теперь те «самые старшие поколения»? Мы вспоминаем о них «с грустной и нежной улыбкой». А кто вспоминает о писателе Николае Николаевиче Зарудине?

Или вот еще смотрите, какая штука. Как мы сообщили выше, в предисловии к сборнику прозы Неверова критик Страхов уверенно заявил, что его «Ташкент – город хлебный» народ принял и полюбил навсегда, а тут, в предисловии к сборнику Зарудина, критик Дынник прямо начинает с элегического и смиренного, не грозного, не обвиняющего совсем, заверения, что ни прозаических, ни поэтических творения этого самого Зарудина никто уже практически не помнит. Разве что старцы некие да старушки, но ясно же Дынник, что недолго

¹ Книгу «Заметки читателя» Михаил Юрьевич Литов вдумчиво и терпеливо писал на рубеже столетий – с этой удобной позиции бросал прощальные взгляды на прошлые века и осторожно присматривался к наступающему, XXI-му. Ред.

осталось им тешить себя воспоминаниями. А периода, между прочим, оба критика касаются одного: Страхов писал в 1973 году, Дынник в 1970-м, – стало быть, с опорой на один и тот же народ высказывали критики свои соображения, с заглядыванием в одни и те же недра народной памяти. И результаты должны были, в общем-то, получиться схожие, если только, конечно, исследовательницу в момент ее эксперимента с этим «аппаратом» не вспугнуло что-то и она там, в таинственной глубине, не заметила краешком глаз что-нибудь ее ужаснувшее, а ее коллега, напротив, не испытал нечто вроде опьянения и восторга, повредившего научной достоверности его опыта. Но в одном случае народу приписывается хорошее, добротное, вечное запоминание писателя, а в другом – быстрое и как бы невинное, почему-то, ну, скажем, само собой, случившееся забвение. Нам скажут: так ведь о разных писателях говорится, и так оно и бывает, что одного писателя запоминают навсегда, надолго хотя бы, а другого быстро и прочно забывают. На это возражаем: так быть не должно, когда речь идет о равных по силам писателях. Более того, мы, исходя из нынешней ситуации и опираясь на собственное представление о народной памяти, все-таки позволим себе высказать предположение, что и тогдашним, семидесятым годов, поколениям не слишком-то вняты были эти писатели, Неверов и Зарудин, а в указанных предисловиях происходит тот фокус, что Страхов решил взглянуть на дело оптимистически и, пожалуй, даже выдал желаемое за действительное, а Дынник пожелала некоторым образом пустить слезу о бренности всего земного. И не в несопоставимости достоинств этих писателей дело, а в том, что критики, написавшие о них вступительное слово, прислушивались и присматривались не к истинному положению дел, а к собственным пожеланиям, и общего между этими критиками то, что оба говорили первое, что им взбрело на ум. Если же допустить, что в те годы, когда писали Страхов и Дынник, у Зарудина не было уже никакой славы, а у Неверова была слава почти даже великая, поскольку народ, как уверяет Страхов, полюбил его повесть навсегда, то с Зарудиным нам теперь может быть все понятно, в том смысле, что с ним все обстоит по-прежнему, зато в отношении Неверова у нас могут в естественном порядке возникнуть определенные недоумения, а именно вопрос, куда же подевалась эта его будто бы надежная слава и как же это народ разлюбил, даже до забвения, его повесть.

Но это так, между прочим, замечание по случаю. Николай Николаевич Зарудин родился в 1899 году, в Пятигорске, в семье горного инженера Николая Эдуардовича Эйхельмана, потомка обрусевших немцев, который в 1914 году едва началась война, из патриотических побуждений переименовал фамилию на Зарудин. В изданной в 2005 году томским издательством книге «Погаснет жизнь, но я останусь» ее автор Глеб Глинка, некогда советский писатель, а после Великой Отечественной – эмигрант, сообщает, что «бытовой уклад в доме Зарудиных, несмотря на протест против своего германского происхождения, носил явные следы старых немецких традиций». Н. Н. Зарудин, выбившись в литераторы, жил сыто и весело. «Он не любил говорить о гонорах, но никогда не испытывал нужды в деньгах. Во время продовольственного кризиса 1930-32 годов из всех перевальцев он первым был прикреплен к самому лучшему закрытому распределителю «Литер А». И еще так об одном из лучших писателей литературного содружества «Перевал» пишет бывший перевалец: «...не имея законченного образования и не утруждая себя изучением каких бы то ни было источников, кроме своих непосредственных впечатлений, так же, как Пильняк, питался преимущественно багажом всевозможных энциклопедических словарей. Он насыщал свои рассказы и особенно свой роман («Тридцать ночей на винограднике» – М. Л.) неожиданной и легкой эрудицией, что, разумеется, отяжеляло и засоряло местами действительно яркую и свежую прозу». «Из всего Достоевского, и то лишь по настоянию друзей, Зарудин прочел «Село Степанчиково». Был в полном восторге, но дальше дело не продвинулось».

К обрисовке Глинкой образа Зарудина мы еще вернемся, а пока продолжим пересказ биографии этого писателя, как она вычитывается из разных предисловий и справочников.

Закончив в 1917-м нижегородскую гимназию, Николай Николаевич очень скоро оказался в рядах воюющей армии красных. Первая книга его стихов, «Снег вишенный», вышла в Смоленске в 1923 году, вторая, названная им «Подем-юностью», в 1928-м в Москве. Затем следует обращение к прозе. Небольшие повести собраны в книге «Страна смысла» (1934), а годом ранее увидел свет его замечательный роман «Тридцать ночей на винограднике», в котором, по словам Глинки, в завуалированном виде отражены «споры о диктатуре пролетариата и о путях социализма». Повесть «В народном лесу» опубликовал в 1936 году «Новый мир». В 1937-м Зарудина, как и многих других участников группы «Перевал», безвозвратно поглотила сталинская репрессивная машина.

Его проза перенасыщена, сумбурна, нередко чересчур цветаста, это сшибка ассоциаций, порой, казалось бы, далеко друг от друга отстоящих, сочетание самых разнородных, как бы наспех возникающих ощущений и смыслов, молниеносных, не успевающих стать клиническим случаем галлюцинаций и пространных воспоминаний, невнятных строителей мифического и неизвестно к кому обращенных заклинаний. Тут выпишем из воспоминаний Глинки довольно внушительный кусок текста: «Все же, несмотря на заимствования и подражания, Николай Николаевич был в достаточной степени самобытен. Он по-своему воспринимал мир, в его произведениях, особенно в прозе, чувствовалась собственная поступь и собственное поэтическое дыхание.

Молодой ленинградский писатель Куклин на вопрос о том, какое впечатление произвел на него Зарудин, ответил так:

– Что же, писатель он, конечно, талантливый, яркий. Много блеска, а в общем «искры гаснут на лету».

Подобная характеристика всех литературных порывов Николая Николаевича была столь же беспощадной, сколь исчерпывающей. Но невольно хочется добавить, не в защиту или оправдание, а единственно для полноты общей картины, что хотя искры действительно гасли на лету, но среди мрака окружавшей его дешевой литературщины и казенной скуки цыганский костер этот все же пылал настолько горячо и живописно, что для неопытного глаза мог казаться подлинным маяком».

Хорошо, продолжим наблюдать за писателем Зарудиным неопытным глазом, и пусть он кажется нам подлинным маяком. Но прежде скажем несколько слов о самом Глинке. Входящий в литературную группу «Перевал», едва ли не в полном составе перекочевавшую в чекистский застенок и сгинувшую в лагерях или расстрелянную в подвалах, Глеб Александрович Глинка (1903–1989), потомок знаменитого дворянского рода, жил в ожидании ареста, а дождался войны. Его призвали в «ополчение», и уже в 1941 году он оказался в немецком плену; дома его считали погибшим, а он после войны жил в Европе и США, занимался литературой, сочинял стихи и рассказы, написал книгу «На перевале», в которой, описывая, как указывается в подзаголовке, «уничтожение литературной независимости в СССР», дал яркие портреты всех главных перевальцев. Если в отношении главенства в «Перевале» критика Воронского у Глинки нет ни малейших сомнений, то лишь заходит речь о Зарудине, значительность роли которого в этой группе тоже была вполне очевидна, он начинает странно мяться и прибегать к оговоркам: «В советской литературной общественности всякое упоминание о литературном содружестве «Перевал» невольно влекло за собою прежде всего имя Александра Константиновича Воронского и тут же Николая Николаевича Зарудина. Происходило это совсем не потому, что Зарудин был лучшим писателем содружества. Его художественная проза была хаотична и безудержна. Во всех его писаниях ему не доставало чувства меры. В стихи он попросту никак не мог поместиться. И в поэтических опытах своих напоминал оратора, которому ограничили время, а сказать хочется еще очень и очень многое. В то же время Зарудин был несомненно самым ярким человеком в «Перевале»». Вслед затем Глинка говорит об «исключительной страстности и многогранной талантливости».

ности» натуры Зарудина и умозаключает, что он «был основной, ведущей фигурой среди художников «Перевала» и как никто другой с полным правом мог бы сказать о себе: «Перевал» – это я»».

В общем, лучшим писателем группы отнюдь не был, а «ведущей фигурой» был вполне. И «Перевал» – это он, Зарудин. Но если Николай Николаевич – лицо содружества «Перевал», а сам при этом таков, что лишь неопытному глазу может показаться подлинным маяком, то что же это за содружество такое и стоит ли вообще говорить о нем? И вспоминать о нем приходится лишь в той связи, что среди «дешевой литературщины и казенной скуки» того времени оно, это содружество, пылало наподобие цыганского костра? Но ведь тут явная ловушка. Мы, допустим, поверим в силу этого костра, побежим, чтобы погреться возле него и послушать, что там толкуют люди, устроившие его, а уже на полпути нам скажут, что мы простодушные чудаки, и глаз у нас неопытный, и поверили мы маяку, который только неучам и непосвященным вроде нас может показаться подлинным. Какие-то, прямо сказать, несообразные перспективы...

Но оставим эти пустые недоумения. Поделимся вот каким соображением: неслучайно, наверное, пристрастие Зарудина к сдвоенным словам, которые условностью своего союза частенько, что называется, выпирают из строки. Прозу его, в лучших ее проявлениях, можно уподобить картине, лишенной рамы и даже холста, зависшей в воздухе щедрой густотой мазков, угловатых и резких, постоянно меняющих форму и отнюдь не уклоняющихся от взаимного поглощения. Буйство красок, неистовство цветовых гамм, в котором неожиданно простыми и четкими чертами проступает «рисунок» содержания, похожий на обман, поскольку не покидает ощущение, что как раз до содержания, до неких смыслообразующих основ в зарудинских стихах в прозе добраться очень и очень нелегко. Удивляемся попутно, отчего же это яркость звезд «жертвенна», а ветлужские осины в небо тянутся «оливково», но и сам автор уже в недоумении роняет: «Что-то неведомое творилось на земле».

Неведомым в рассказе «Чувство жизни» становятся и чувства, и жизнь, и лес, и проносящийся по нему фиалковый запах, о котором мимоходом вплетенная в повествование безымянная девушка сказала: «Теплый ангел пролетел!». Чтобы попасть в этот лес, «мы плыли по Волге на плотках с близкими товарищами, в апреле, ближе к Ульяновску», и тут же сразу, без разъяснения о товарищах и прочих пассажирах: «Целая деревня плыла на плотках, две кошевые набиты были народом – не хватило их, народ ютился по шалашам, – одних якорей и лотов была целая тысяча пудов». Что же это за массовый исход такой? Уж не о выселенных ли, о согнанных с предназначенных к затоплению мест речь? У героя рассказа в лесу свой роковой «фиалковый» вопрос, поиски «теплого ангела», как бы невзначай упомянутой девушкой, а у дотошного читателя отнюдь не пустяковые соображения насчет плывущего куда-то, ютящегося по шалашам народа. Знает он, например, – и слышал о подобных вещах, возможно, и писатель Зарудин, – что обитатели старинной Мологи, обреченной стать дном Рыбинского водохранилища, на скатанных из бревен их разобранных домов плотках сплавлялись вниз по Волге к местам их нового жительства. А еще, как гласит сохранившийся чекистский документ, начальник Мологского отделения лагпункта Волголага лейтенант госбезопасности тов. Складов рапортовал начальнику Волгостроя-Волголага НКВД СССР майору госбезопасности тов. Журинову, не стесняясь своей косноязычности: «В дополнение к ранее поданного мною рапорта докладываю, что граждан, добровольно пожелавших уйти из жизни со своим скарбом при наполнении водохранилища, составляет 294 человека. Эти люди абсолютно все ранее страдали нервным расстройством здоровья, таким образом, общее количество погибших граждан при затоплении города Мологи и селений одноименного района осталось прежним – 294 человека. Среди них были те, кто накрепко прикрепляли себя замками, предварительно обмотав себя к глухим предметам. К некоторым из них были применены методы силового воздействия, согласно инструкции НКВД СССР». Но это

так, к вопросу о времени, в котором выпало жить писателю Зарудину, а рассказ его вообще о другом.

В повести «Снежное племя» Зарудин изображает переселенцев-чувашей, сколотивших колхоз «Просвет», – назвать «Рассветом» не решились. Председатель сбежал, прихватив кассу. Более или менее случайным посетителям предстает картина дремучего, едва ли не первобытного быта: «Жилье лежало, зарывшись в сугробы и обледеневший конский навоз. Сугробы равняли низкие дерновые крыши... У стола, казавшегося просаленным насквозь, ужинали. Народ прижился всюду: полуголые дети лежали и сидели под самым потолком, на каких-то досках, пристроенных неведомо как. Худые, плоские девки тянулись у печки. Желтолицая баба в черном покойницком сарафане, с нахмуренными бровями и огромной грудью, свисавшей к самому животу, наливала в чашку зеленое сусло». Один из обитателей этой пещеры говорит: «Мучаются все у нас, весь коллектив. И старики, и молодые – все вместе... У нас женщина одна молодая померла из-за этого... Померла... все просила закурить... молодая еще». Умершую хоронят, и путешествующий инкогнито большевик, местный начальник Захаров, – он потом на собрании в городе сообщит своим единомышленникам что-то не уточненное автором о необходимости менять жизнь в глубинке, – произносит прощальную речь: «Она.....была верным товарищем своему заморенному народу и понимала, что пора перестать плакать нам, как плакали мы черные сотни лет. Она прожила свою жизнь, трудясь с утра до вечера.....и за кусок хлеба отдала свою жизнь. За этот кусок хлеба она заплатила ямой могилы царям, помещикам, генералам.....Пусть каждый из вас знает, что теперь вам некому платить своим потом и кровью... и каждый из вас помнит сознательно только себя и коллектив. Вы бедняки, у вас нет пауков-эксплуататоров. Вы дружный народ и живете смирно.....Пусть, товарищи, машины и Советская власть поведут нас к жизни, где вы не будете расти, как кусты.....Пусть поведут они нас туда, где каждый будет кончать свою жизнь под музыку.....Вечная память! Склоним знамя борьбы над трудовыми руками.....Отдыхайте же мирно, покойтесь, гражданка Ефимова...». Похороны заканчиваются тем, что «веселый муж (усопшей Ефимовой. – М. Л.) вынул из-за пояса топор и приготовил гвозди. Крышку прилаживал одноглазый черненький, хозяйственно припирая ее коленкой, гвозди входили в дерево бойко, и малый в рысьем треухе заколачивал их, как ему всегда и полагалось, жизнерадостно».

Для советских критиков тут, разумеется, всего лишь изображение пережитков проклятого прошлого, но в оторопи автора перед чувашской колхозной жизнью как-то не чувствуется и намек на снисходительное или гневное превосходство, с каким обычно смотрят на отживающее, уходящее. Он не думает, что это надолго, навсегда, что это явное указание на несостоятельность большевистского правления, но нет у него и ощущения, что он столкнулся с чем-то случайным, лишь по недоразумению не успевшим вовремя исчезнуть. Что и говорить, автор тоже весь в борьбе за иную, более достойную жизнь, он в некотором роде и сам не кто иной, как большевик Захаров. Но реальное положение вещей, которое он своих сочинениях нередко изображает с намеренным сгущением красок, как подлежащее радикальной переделке, настолько удручает его, что до выполнения оперативного задания той эпохи по расчленению времени на проклятое прошлое, радостное настоящее и светлое будущее у него, собственно говоря, не доходят руки. Он предпочитает бежать к образам вечности; одним из ее символов служит глухарь в рассказе «Древность»: «Глухарь сидел раздутый, раздвинувший свои мощные перья, поводя громадой раскинутого полукругом хвоста в белых мраморных пятнах. Бородатая его голова приподнималась и опускалась в такт бурлящему горлу. Косматый и черный, он поворачивался в нежном розовом сиянии, проникавшем сквозь сумеречность сучьев. Древнее, полночное, петушиное было в этом мохнатом призраке, повисшем в рассветном безмолвии дерев». А человек – какова мера его причастности к подобному символизму? Человек увертывается, он то умирает от табачной недоста-

точности, то весело заколачивает гвозди в крышку гроба почившей жены, то убивает глухаря, испытывая при этом «истому дикого, необъятного счастья»:

«— Миколай Миколаевич, — услышал он вдруг страстный, сияющий шепот.

Он оглянулся. Старик стоял, высоко закинув свою обвисающую пыльными волосами голову, и показывал ему вверх. Не чувствуя земли, путаясь ногами, перехватывая хриплое дыхание, тот тщетно бродил глазами — и наконец увидел: глухарь чуть брезжился низко опущенным хвостом, уплывая вместе с вознесенной хвойной вершиной навстречу неподвижности снегового облака. Ружейные стволы на миг закрыли его сливающуюся тень, секунду она задержалась между двух стальных полукругов, и ружейный удар показался особенно гулким, подрезывающим и посадистым. Громадная птица плавно, не задерживаясь, мелькнула вниз, безмолвно и мягко, стукнувшись темным бултыхнувшимся зобом и распавшимся ворохом перьев. Одинокое перышко, крутясь, опускалось в воздухе.

Тут-то, «держа птицу за длинные шершавые ноги в плоских роговых пластинках», Зарудин и ощутил — в рассказе этом, в котором описал себя, в своей бойко и странно прожитой жизни, в действительности, готовившей ему подвальный расстрел — «истому дикого, необъятного счастья. Собаки заливались впереди, и это сулило еще то новое, тревожное, острое в своей сладкой и сердечной тоске, которое пришло, которое, он чувствовал, повторится опять, которое было сейчас и которое будет еще впереди без конца. Это без конца было особенно сладостно: и, очевидно, потому, что охотничье, древнее всегда поднимается из пройденного, векового, затерянного в забытом, туманится синим куревом потухших костров, светивших много лет назад, зовет неизведанными дорогами вперед, — никогда не иссякнут темные, уходящие вдаль неведомые охотничьи дороги, никогда не умрет темное счастье предчувствий, погони, следопытства, удачи, счастливой охоты...

Он неожиданно понял, как страстно, неиссякаемо любит жизнь — мучительной, детской, пытливой, охотничьей любовью. Ему вспомнился смутный и очень давний его мир, горящая тьма, ужасные звезды, разгромленный бор, но полностью всего он не мог уже припомнить. В своем ощущении мучительной влюбленности в этот лес, в этот дикий, неприветливый, почти каменноугольный ландшафт, в этого чужого старика, вдруг сказавшего так необычайно, так древне-соучастнически: «Миколай Миколаевич...», когда они стояли под древней, сказочной добычей (сколько веков назад!), — в своих ощущениях он смутно различал только одно: это никогда, никогда не кончится».

Да нет же, кончится, конечно, да еще как кончится, и до чего же неожиданно, непредвиденно. Глинка напоминает: «...всюду в практической жизни Зарудин умел устраиваться с предельным комфортом». А комфорт — дело чрезвычайно преходящее. Что ограниченнее его, что столь же относительно и зыбко, как он, что по достижении его предельности и робком взгляде за пределы так же пугает и мучает страхами его утраты? Сама жизнь когда-нибудь да кончается, и в ней, как во всем ограниченном, стало быть, неверном и обманчивом, сознание комфорта, удобства, лада с окружающим, гармонии с мирозданием приживается слабо и вымучено. «Истома» же бывает весьма сильна, победительна, неодолима, и человек, оказавшись у нее в плену, становится сам не свой и едва понимает, что с ним и куда он попал, в какой из миров его занесло. «Истома» не только привлекает человека на резкую грань между жизнью и смертью и заставляет его жить восторженными предвкушениями гибели, конца, исчезновения, но и вообще подталкивает к таинственным узким путям, обещает чудесные превращения, перемещения в другие измерения. В ней сходятся жизнь и смерть, «лед и пламень», поэзия и проза, и счастье ли в ней дикое и необъятное, — это еще вопрос. Роман «Тридцать ночей на винограднике» весь держится на «истоме». Составляющие его любовные трагедии и великолепные пейзажные зарисовки, а главное, исполненная необыкновенной и физически ощущаемой силы и красоты жизнь его персонажей наводят на мысль, что, может быть, русской литературе и впрямь следовало, хотя бы на время, осво-

бодиться от христиански окрашенного искания истины, явить миру героев крепких, здоровых, ясных. Разумеется, без комиссарской стрельбы по иконам, без умышленной бодрости разношерстной толпой невесть откуда налетевших «веселых ребят», нимало не подозревающих о святых загадках инобытийного веселья героев Неверовского рассказа, без явившихся затем им на смену зачумленных производственными отношениями прорабов и младших научных сотрудников. На этот счет Зарудин осторожен. Он повоевал за правое народное дело, при новой власти устроился «с предельным комфортом», но полноценным советским восторгам и иллюзиям предаваться не склонен, и в тайных спорах с друзьями-приятелями из «Перевала» он, по словам Глинки, «яро защищал Троцкого и беспощадно издевался над новым полицейским режимом». Двуличность проступает явственно, однако ей не место в романе писателя-коммуниста, хотя бы и вышедшего из партии, и она где-то за кадром тает в «истоме». Лояльность режиму герои романа доказывают уже своим безусловным атеизмом, и обвинений в неблагонадежности они никак не заслуживают, даже если, по слову того же Глинки, в «завуалированном виде» спорят о социализме. Действие романа «пробегают» по горам и виноградникам, по местам, затронутым цивилизацией, а все же какими-то таинственными, Бог знает где затерянными тропами, хождение по которым – не отдых и развлечение, а инициация. Он словно вне времени. Он внутренне чужд литературе прошлого, но его не перетянешь и в нашу современность; мощь и прыть героев романа показалась бы чрезмерной даже фантазирующей о прекрасном, солнечном будущем Вере Павловне, и, будь роман полновеснее, грандиознее, эпичнее, он предстал бы насмешкой над чередой «лишних», нервных, томных, умоисступленных персонажей былого; а при этом томности и умоисступления у зарудинских героев хоть отбавляй; нет в романе и хорошо нам нынче известного показного отстранения от Божьей тайны или литературного заигрывания с ней, способного дать разве что лишь упражнения в изящной словесности. И тайна, с легкостью необыкновенной перейдя – о ужас для ортодоксов! – от богочеловечества к человекобогам, продолжается в полноте бытия этих последних.

В романе несменяемый герой – Зарудин из «Древности», подтвержденный и Глинкой, уверенно сказавшим, что в «Тридцати ночах...» автор изобразил самого себя, – разгадывает все то же неведомое, что творится и творится на земле: «Я слышал, как дубы роняли спелые желуди, томились листья и падали ягоды. На вершине горы, обращенной к небу, вытянув сучья, осторожно ступали деревья, – они крались над бездной, легко пробирались по карнизу сиянья, – везде открывались пути, исчезали пучины и пропасти, безбрежный магнит, не ослабевая, струил свои прозрачные силы». Разве так бывает, разве исчезают ни с того ни с сего пучины и пропасти, – и о каких, собственно, пучинах и пропастях говорится? – разве это «настоящая» природа? Настоящей природы никто из нас и не видел никогда, природу не увидишь и не услышишь в ее подлинном существе, мы разве что искренне удивляемся ей, когда, приехав в знакомый уголок, обнаруживаем, что там все по-прежнему, мы, известное дело, знаем только собственные представления о природе, изменчивые, обманчивые, могущие и вовсе не состояться даже когда у нас на глазах некоторым образом доподлинно исчезают некие пучины и пропасти. Но свои представления, впечатления, ощущения еще нужно суметь выразить, если нам это для чего-то понадобилось, – например, для того, чтобы создать роман, – и, глядишь, дубы в самом деле покажут, как они роняют спелые желуди, листья расскажут о своем томлении и «безбрежный магнит» явится во всей своей красе и силе. Неведомое останется неведомым, но рожденные порывом души строки вернутся к нам полнотой бытия.

Улыбался ли автор удовлетворенно, ставя точку в своем сочинении, беря затем свежую, из типографии, книжку, наскоро пробегаая выстрадано знакомые ему куски романа? Может быть, даже после каждой удачной, на его взгляд, фразы? Глинка настойчиво говорит о легкомыслии, неосновательности, какой-то даже несостоятельности Зарудина. В зрелые

годы он, «несмотря на некоторую поношенность», был все же «весьма хорош собой», но во всех его ухватках, выходках, телодвижениях «чувствовался не прежний юношеский пыл, а устоявшаяся манера наигранной молодой беспечности». «Зарудина многие не любили; была тут, несомненно, и доля зависти к тому, что он умел если уж не быть, то во всяком случае выглядеть всегда и всюду первым и лучшим». Писал он легко, крылато, рассыпая искры, при этом «никогда не бывая дома, посвящая все свое время общению с приятелями и различным развлечениям, вроде охоты, перманентно влюбленный». «Однако устные выступления давались Зарудину еще легче, чем писательская работа. Когда он рассказывал свои замыслы – всегда получалось несравненно богаче, красочнее, нежели то, что впоследствии было положено на бумагу». Бесконечные разводы и «легкомысленные связи в советской артистической среде» свидетельствуют о «распушенности нравов, столь характерной для быта литераторов тридцатых годов». Зарудин, «проповедуя холостяцкую жизнь и свободную любовь», с женой, которую знал еще по гимназии, не развелся, но, «пользуясь всем комфортом возлюбленного супруга, он совершенно открыто изменял жене на каждом шагу». Жена называла его Кокочкой и все ему прощала. Кокочка, бывало, месяцами не появлялся дома – «путешествовал где-то с очередной своей поклонницей». Дочь Кокочка любил, однако «никаких отцовских обязанностей по отношению к ней не чувствовал». Троцкистом был этот Кокочка; его даже исключили из партии после того, как он, в ответ на полученный в редакции «Красной звезды» выговор, «на виду у всех членов ячейки разорвал свой партийный билет». Но, уже не состоя в партии, он продолжал исповедовать верность ей и делу революции. У него «так же, как у большинства современных советских писателей, если и была так называемая совесть, то имела она такие безграничные допуски, что едва ли в какой-то степени соответствовала данному понятию».

Не видится оснований подвергать сомнению эту этическую характеристику облика Зарудина, а поставленное Глинкой на вид уподобление его «большинству современных советских писателей» как-то даже выводит перед нами обобщенный писательский тип, характерную фигуру литератора нового времени, новой формации. И это не личность, раз уж вместо совести «безграничные допуски», а именно фигура, на которую каких угодно вешай собак – беспринципность, распушенность, болтливость, приспособленчество – одно получится в итоге: пустота. Поневоле является соображение: препустейший человек. Нет ничего, души нет. Пучины и пропасти исчезают? Да какую хотите громадину вообразите, хоть вечность с бесконечностью, все исчезнет в этой пустоте без следа, играючи, как не бывало, и сама смерть словно не находит в ней никакой опоры. Странное впечатление производит человек, когда его внутреннее содержание оказывается не там, где ему положено быть, а обособляется за спиной широким фоном, делая человека видимым и невидимым, прозрачным и непроницаемым. Человек и мал бесконечно, и велик, как сам князь тьмы, он бог и червь, венец творения и ничто. Он блюдет в тайне некое свое отсутствие, прячет его за приличной внешностью, представляя тем, кто «весьма хорошо собой», но он в пустоте, подменившей его внутреннюю природу, растворившей ее в себе, вместе с тем и незрим. Становясь писателем, он озирается в поиске своих истоков и почвы, на которой ему стоять, и важно заключает: я вышел из литературы Серебряного века. А ему бы поискать причину, побудившую его взяться за перо. Ведь он, как и всякий пореволюционный советский писатель, немножко самозванец. Тут следует разъяснить, что взятый им за свою родину и питательную среду век, весьма заметно продвигая вперед «светское» самосознание народа, в то же время желал, в общем и целом, оставаться в русле религиозности, и отсюда золотой и бесплодный сон религиозно-философских обществ, соображений о христианской подоплеке языческих мистерий, патетических заявлений о религиозном смысле начавшейся революции, странной веры в некую особую религиозность пролетариата, – то бишь всего того, в чем было много энергичного красноречия и изящного эстетства, но практически не было подлинной рели-

гиозной муки Достоевского или Толстого. Глинка дополняет: «В романе «Тридцать ночей на винограднике» упоминается Кант, В. В. Розанов, тут же введены исторические и этнографические справки, но все это лишь понаслышке, все взято из словаря и приправлено эмоциональной окраской, случайно прихваченными где-то и от кого-то впечатлениями». Зарудин решил отдохнуть от начитанности и образованности, еретических мятежей и богостроительства породившей его эры, и отдохнул вволю.

Оглянуться, однако, не успел, как в его романе – вдруг! откуда ни возьмись! – такой чистый и молодой всплеск – даже, хочется сказать, не духа, а энергии, освободившейся, вырвавшейся из тесноты всякого рода дискуссионных клубов, литературных кафе и «башен», взметнувшейся дионисийским фейерверком. Нет смысла докапываться, атмосфера ли это вообще послереволюционного времени, принесла ли и впрямь духовное укрепление революция, не первичные ли тут проявления будущей тягостной и навязчивой мажорности соцреализма, или, может быть, лишь сугубо индивидуальные черты творчества Зарудина. Не будет ошибкой сказать, что просто есть роман, заслуживающий удивления и уважения, исполненный свежести, своего рода «учебник» безрелигиозной, т. е. не рассуждающей о Боге, святости, ее истин и соблазнов, восхождений и падений. Эта святость покоится на чистом чувстве жизни и ее насыщенности свежими соками, токами, молодым вином, зовущим там, на винограднике, еще только изобретать притчи, а не уныло распутывать их в провинциальном трактире или в столичном кружке эстетов.

Но мы говорим о возможных и во многом оправдавшихся путях оздоровления литературы, вовсе не предполагая, что столь же хороши атеизм и богооставленность и в реальном человеческом существовании. Разнообразные личности ребят с «огромными красными лапами», этих литературных самозванцев, их таланты, творческие замыслы, великие труды – все это не составило мифа, не сложилось в предание, а всего лишь выдвинуло плакатную живопись с изображением типичного для эпохи фигуры литератора. Такой предстает перед нами литература двадцатых-тридцатых годов прошлого столетия, оставившая после себя много великолепных плодов. Взгляд ошибочный, не различающий живой жизни, породившей великую литературу, но с этим уже ничего не поделаешь. Не подлежит сомнению то лишь, что Предание, отойдя в прошлое, оставаясь истинным и единственным, потускнело и утратило силу влияния, а еще прежде угасла религиозная жизнь народа, из которой оно черпало энергию для своего внутреннего строительства. От чего же отдыхал такой типичный, характерный для своего времени писатель Зарудин? Когда литература забывает, что не человек для религиозных споров, а они, споры, для человека, ей впрямь лучше «отдохнуть» от Бога. Типичный писатель двадцатых-тридцатых, выйдя из предшествующего его эпохе Серебряного века, вдруг осознает, что он не только порожден этим веком, но и вынужден был избавляться от его искусственной атмосферы и его выдуманных богов, а это потребовало большого труда, даже войны. Зарудин придумывает себе «лапы», показывая, что не шутя разгребал прошлое, порывал с ним всякие связи. Это хороший заслон от придирчивого читательского глаза, и, поставив его, можно прийти в себя, осмотреться в реальности, приспособиться к ней, поразвлечься, не утруждая себя былым и думами, забавляясь охотой, общением с приятелями, путешествиями с поклонницами. Но реальность и жизнь в реальности, они слишком искусно сложны, запутаны и обременительны, чтобы человек мог забыться в подобном отдыхе. И Зарудин, писатель с тонкими руками и ногами, красивый лицом, создатель развлекающихся и по-своему страдающих в виноградниках богочеловеков, начинает хлопотать. О чем? О древности глухаря, о будто бы пролетевшем теплом ангеле. Он распечатывает свою растерянность перед лицом мироздания и уже не уклоняется от труда жизни, от навязываемых ею мучительных вопросов.

Но читателю или критику, который, чего доброго, еще партиен окажется, на зубок попавший все так же не хочется. Надо заслоняться; да и от себя самого тоже, от своей пробудив-

шейся тревожности. В «Тридцати ночах на винограднике» трагизм бытия, который и служит средой общения с Богом, он пытается заслонить сильной и властной красотой этого же бытия. В «охотничьих» рассказах «Древность», «Чувство жизни» – неведомое творится, и дремучий, осязаемо тяжеловесный и чуточку сказочный лес оборачивается вместилищем мятущейся и недоумевающей души. Деревя, звери, земля сама, огромный глухарь, герой повествования и он же его автор, все они полны жизни, «дикого, необъятного счастья», но и страдают, крепко и неостановимо мучаются тем, чему нет названия. И каждый раз приходится подозревать, что не только герой того или иного рассказа, но и сам автор так и не поняли причины и смысла своих терзаний. Но всегда ли это понимание возможно и, рискуем спросить, всегда ли оно необходимо?

В зарудинском случае поражает несоответствие жеманного, капризного, честолюбивого, безличностного человека глубокому и трагическому писателю. Трудно вообразить, чтобы у этого человека была вера в Абсолютное, в Нечто, чтобы он жил не верой в относительное, т. е. в дело революции и заповеди Троцкого, в преданность жены и паек от распределителя «Литер А», а потребностью в соприкосновении с миром сверхчувственного. Еще прямее выскажем приговор: пустой человек, невежественный, чуждый культуре, Преданию. Не принимаем, впрочем, в расчет обвинение Глинки в бессовестности, потому как лучше все же обойти стороной эту «болеву точку», очутиться по ту сторону добра и зла. Как ни крути, перед нами необыкновенно глубокий писатель, Валмики, десять тысяч лет стоявший над пропастью на одной ноге, прежде чем пуститься в сочинение боговдохновенных строк. Только где был человек по фамилии Зарудин все эти десять тысяч лет? А между тем пишет так, словно с миром сверхчувственного не соприкасается по случаю, вообще случайно, сам того не желая, а имеет с ним таинственную связь, не то что иной раз переносится в него, а в некотором смысле всегда в нем обитает. Я бы смешное сказал, когда б вздумал утверждать, будто хорошо знаю и понимаю этот сверхчувственный мир, но я дам совершенно верное представление о себе, если скажу, что в Зарудине меня изумляет и запутывает именно его болезненная и кипучая открытость иным мирам, которой, по всему, неоткуда было у него взяться. Великий писатель. И в этом абсолютно не типичен.

Поколения, еще помнившие Зарудина, ушли, поэтому может быть не совсем ясно, о чем тут у нас толкование, и лучше обратиться к более известным и уже имеющим свою поучительность примерам. Разумеется, талант Платонова, и по росту за роковой тридцать седьмой год, и по масштабу творчества – старшего современника Зарудина, несопоставим с зарудинским, он куда глубже, он универсален и, выйдя из космических бездн, стал на земле беспримерным явлением. В то же время сам образ писателя Платонова спутан до невозможности. Как это вышло? Это сделал человек Платонов. Попробуйте угадать, во что он верил, верил ли в Абсолютное или тоже только в некие относительные, промежуточные истины. Был ли Платонов как человек столь же глубок, как писатель? В этом отношении он не менее типичен для своего времени, чем Зарудин. С другой стороны, Платонов-человек, в отличие от человека Зарудина, таинственен, под его кожей гнездится неразгаданная магия. Платонов – человек и писатель – могучая, едва ли не величайшая в мире река, но мутная, непроглядная, тяжелая, только по ночам легко светящаяся, играющая лунным серебром. Зарудин мутен как писатель, но совершенно прозрачен как человек, и в нем, не в его личности, которой и нет, а в том образе, который мы извлекаем из известных обстоятельств его жизни, намечается расхождение человека и писателя, отход человека от писательства. Платонов еще мог бы отойти от писательства, оставшись при этом писателем, творцом, а Зарудин, отойдя, бросив перо, остался бы только посетителем закрытого распределителя, прожигателем жизни, мужем преданной и всепрощающей жены. Проведенное сравнение указывает нам на явления сложные, противоречивые, контрастные, а выросшие все же на одной почве, из одного зерна. Ничего подобного этим явлениям не бывало и не могло быть внутри Предания, внутри

религиозного образа жизни и религиозного отношения к слову. Зарудин продолжает писать книжки и делает это превосходно, однако в действиях его образа и в его жизни – в образе действий и образе жизни – с упорством и постоянством чувствуется человек, а не писатель. Не столько писания, описанные переживания и восторги, сколько сама эпоха выносит на поверхность образ Зарудина, делает его зримым и осязаемым, узнаваемо-типичным, ибо именно она, эпоха, создала немалое количество подобных Зарудину людей. Но неведомое творится на земле – и писателю Зарудину предоставлена возможность быть единственным и неповторимым.

Действительность высшего порядка, существует ли она объективно или только в наших представлениях, никуда не подевалась с тех пор, как писатели Мережковский с Фило-софовым задумали нового пролетарского бога, а писатель Зарудин, совершив пролетарскую революцию, в досугах и развлечениях победителя потерял сколько-нибудь внятную мысль о Боге. Эта действительность по-прежнему возможна, поскольку, как бы мы ни замыкались в себе и ни предпочитали смотреть лишь себе под ноги, все так же существует небо, звезды, космос, т. е. весь тот чудовищный и непостижимый вселенский механизм, который, что бы мы ни думали о нем, всегда остается выше нас. По отношению к нам он вечно сверхчувствен, мистичен, мы вынуждены смотреть на него как на неизъяснимую мистерию. В нем, а не в нас самих, тайна нашего происхождения, следовательно, все высшие смыслы и цели всякого бытия, в том числе и нашего, – тоже в нем. Сопричастность этой высшей действительности иллюзорна без религиозной жизни, и кто же не знает, что просто ходить под небесами, коптить небо, интересуясь только собой, собственным бытием, своим родом и видом, своими родовыми и видовыми отличиями – роковая ошибка, а вот что-то не видеть господ, всерьез надумавших отвести от нас чашу с ядом. Не предпринимаем шагов к исправлению пагубного положения вещей, к возвращению к правильным истокам и основам, к основам основ, в святая святых, к разумному и творческому, плодотворному ведению религиозной жизни, – ситуация, что и говорить, аховая. Мы предпочитаем жить наобум. Вообразить и описать истину нетрудно, но возвращение к ней было бы сопряжено с невероятными трудностями, потребовало бы подвига, самоотверженности, даже самоотречения. И это говорится не для красного словца. Но жажды возвращения нет в сугубо человеческих монологах и диалогах. Впрочем, надо сказать, что ее и не может быть в личности как таковой и в непосредственном общении между личностями. Человек всегда все запутывает и приводит в тупик и в абсурд своими бесконечными «зачем», порожденными мучительным сознанием относительности всего в мире и собственной конечности. Он, напомним, мучается. Так же «мучается» поплавков, когда уже присосалась к крючку с червячком рыбина, а рыболов этого все еще не видит. Религия же начинается лишь в отвлечении от сугубо человеческого, и не случайно мы, пожелавшие знать только свое родовое и видовое, пришли к тому, что Бог, никогда и не думавший ставить нас венцом творения, вслушивается теперь не в наши голоса, а в молитвы зверей. Сейчас уделим внимание тому бесспорному факту, что обращения Зарудина к неведомому – умышлены, некоторым образом сфабрикованы, подняты на гребень истерического усилия, раздирающего его писательские внутренности. Он словно проснулся и закричал, еще полный ужаса перед чем-то увиденным во сне, а затем решил сесть и записать свои переживания. Совсем другое дело писатель, исповедующий Предание, – он поддается внешней силе без крика и возмущения, не торопясь раздумывать, что в ней и о чем она. Зов небес, сверхъестественное в ней? Отголоски закончившихся всесветными неприятностями событий в Эдеме, история Савлова преображения в Павла, крестовых походов, никоновского раскола, арианских и манихейских ересей? Отражение народных верований, двоеверий, суеверий и предрассудков? Или в самом деле ангелы слетают с небес в голубином облике, свечи сами собой возгораются в душе, искры сверхъестественного носятся в ночи и обжигают сердце? И мы тоже над этим не задумываемся,

по крайней мере в данном случае. «Искру Божью» можно придумать и можно иметь. Сила внешнего, соединяясь с внутренней силой очарованного и заколдованного писателя, создает новые формы; он был прирожденным писателем, серьезно и со знанием дела берущимся за перо господином, а превращается в кудесника слова, он уже воплощенная и нерасчленимая сила, словно по волшебству созидающая новое; субъект преобразается в объект; откуда-то сами собой берутся новые мехи, в которые ставший чародеем разливает старое, выдержанное, прекрасное вино; это и есть поиски формы, но они, едва начавшись, тут же завершаются встречей, соединением и обретением, а стало быть, это мистическое самозарождение смысла и истины, и только в силу указанного союза возникают формы, внутри которых кипящее и бродящее застывает в осмысленное и истинное. Зарудин же, вглядываясь в неведомое, внешнее, потустороннее, как оно явлено в земных воплощениях, приходит в неистовый восторг, но энергии у этого внешнего не берет, словно ничего не ведая о ней, и предпочитает опираться на свои собственные силы. Они у него впрямь огромны, и внутренняя сила помогает ему создавать формы, однако это формы о внешнем, а не союза внешнего и внутреннего, они прекрасны на вид, но явно повисают в воздухе без всякой опоры. Внутренняя сила человека, оставленного Богом, заключает в себе великую тайну, следовательно, она по определению непроницаема, и формы, которые создает этот человек, – непроницаемы, поэтому мы, любуясь и восхищаясь ими, остаемся в неведении относительно их внутреннего содержания. Мы в состоянии потрогать их, взять в руки, спрятать или водрузить на самое видное место, но не в наших силах разгадать, обуздан ли в них хаос, состоялись ли события, даны ли факты. Не то у Зарудина, создателя неких форм: они ему понятны от начала до конца, видимы им насквозь; каждое слово, сказанное им в задумчивости или внезапно вырвавшееся у него, не кажется ему случайным или лишним, он любит это слово, любит его, считает его неотъемлемой частью целого, а само целое представляет для него не что иное, как шедевр. Он желает быть писателем как таковым, самоговорящим, а не заводным. Но когда-нибудь он пытается осмыслить, «раскусить» силу, подвигшую его на создание шедевра? Для этого ему необходимо ее тоже уяснить в виде четкого, оформленного целого, а не разрозненного, раздробленного на части «неведомого». Он осознает необходимость преодоления темного и неопределенного волнения, упорядочения скапливающихся и распадающихся, пребывающих в вечном движении образов, в которых предстает перед его возбужденным взором внешнее, природа с ее баснословными пучинами и пропастями и «безбрежными магнитами». Его пытливость взыскует объекта, а не сумбура и стихии, формы, и желательно идеальной, а не бесформенности и хаоса. Ведь ему ясна постановка вопроса: не будь заключена в нем форма, идея шедевра, как бы создал он идеальную форму и исключительный шедевр вне себя? Искомая форма чувствуется им до того, что он даже видит ее как наяву, но – странное дело! – он чувствует, всматриваясь пристально, несообразное: если он, предположим, над этой формой возвышается, а в каком-то смысле и помещается на ее удобной поверхности, опирается на нее, то под ней как раз нет ничего и сама она ни на что не опирается, возвышаясь над тем, что иного названия, кроме как пустота, не имеет и не заслуживает. Стало быть, при всем том комфорте, с какими ему, пользующемуся своей силой писателю, довелось расположиться на некой почве, фундаменте, он в действительности отделен от пучин и пропастей весьма хрупкой преградой и в любой момент рискует провалиться не куда-нибудь, а только в пустоту, где в безбрежности не окажется ровным счетом никаких магнитов. Слишком ясно он видит эту картину, чтобы не поверить в ее достоверность, а решить, чем она вызвана и чем объясняется, не в состоянии, или решения его, хотя в них всегда, когда они касаются его лично, заключена значительная доля правды и истины, чересчур уж просты и незатейливы. С одной стороны, этот вопрос о причине и природе пустоты как будто ничего иного и не требует для снятия его, как констатации, что так есть и по-другому быть не может, однако чувство самосохранения и уважения к себе

радикально затрудняет принятие этого напрашивающегося ответа. С другой, все решения, принимаемые в связи с полученной комбинацией, неотвратимо носят характер примитивных, вполне соответствуя низкому уровню человеческого сознания в сравнении с масштабом космического бытия, и более высокого, так сказать, почетного статуса достигают лишь в том случае, когда на помощь сознанию приходит вера. Но в разбираемом случае этот спасительный круг как раз не подразумевается. Скольких вера уже спасла от яркого и мучительного уразумения своего бессилия, бездарности, реальной несостоятельности, и на какие высоты, до какого благодушия и снисходительного презрения к прочим поднялись, благодаря ей, многие из тех, кто еще вчера с завистью, жалобно поглядывал на преуспевающих и одаренных! Однако, повторяем, данный случай – другого порядка, в этом случае жизнь пытливо смотрящему начинает казаться сном, а бытие – насмешкой над всем живущим, и тут мы уже лишаемся возможности делать какие-либо предположения насчет истинного состояния его духа, ибо ничто так не спутывает карты исследователя психологии, как сон и смех, охватившие человека, окутавшие его, словно туман, но приписываемые им окружающему. Впрочем, имея некоторое представление об исследовательских методах, а также зная, как в подобных ситуациях, кажущихся абсурдными и тупиковыми, ведут себя обычно бодрые и мало когда унывающие люди, мы вправе высказать предположение, выводящее нас, дошедших, казалось бы, до точки, к несколько иным горизонтам. И почему же в самом деле не предположить подъем, восхождение, по крайней мере отчаянную попытку вырваться из недоумения? Ничто, собственно говоря, не мешает нашему заплутавшему герою подняться до мудрого самоопределения, гласящего, что трагическое расхождение между его показным благополучием и внутренней неосновательностью и ненадежностью, между внешней жизнью, жизненностью, оживленностью и внутренним небытием, омертвелостью, никчемностью объясняется его безразличием к коренным, проклятым вопросам, испокон веку мучившим людей, главным образом лучших, наиболее добросовестных и талантливых из них. Он внушает себе отнюдь не лишнюю рационального зерна мысль, что это расхождение объясняется его неспособностью впасть в святое расслабление, совершить прыжок в абсурд, постичь разницу между жертвой Авеля и жертвой Каина, его неучастием в крестовых походах и еретических движениях, в аввакумовых самосожжениях и поисках чаши Грааля. Но действительность и не предоставляет ему возможности участвовать в подобных явлениях и затеях, а если он, собравшись с духом, объявит себя самого действительностью, восполняющей пробелы и недостатки в жизни целого, т. е. общества, его отведут в подвал, поставят к стенке и расстреляют, приговаривая глупые, балаганные слова. Он оказывается перед выбором: либо остаться при своих сомнениях и огорчениях, либо подыскать для них удобную мишень. Тут он колеблется и отчасти конфузится, отлично понимая, что эти сомнения нацелены им на самого себя и переадресовать их – значит, поступить не совсем честно, однако после небольшой заминки переносит все: сомнения, огорчения, недоумения свои – на внешнее, на природу, на леса и горы, облака и звезды. Бога живого, доброго старичка, который принял бы этот «дар земли», нет, и именно оттого, что его нет, а он мог бы быть и даже должен быть, отправитель дара смутно угадывает, что в ситуации, когда ответа ему ждать не приходится, в конечном счете лишь то и вышло, что он отделил недоумения от себя, а сам остался ни с чем. Все тяжелое и гордое, мучительное и прекрасное своеобразие мира уже умерло в нем, и как человек он просто работник, младший научный сотрудник, автомат, многостаночник, песчинка, компьютерщик, программист, культуртрегер, а как писатель – важный развлекающийся господин, легко и удачно пишущий в паузах между охотой, болтовней и любовными похождениями. Он в Книгу, о человеческом неутомимом и талантливом труде над которой мы обмолвились в свое время, вписывает свою страницу, но не живет написанным до него и не интересуется, что напишут в ней будущие поколения. Тут мы вынуждены даже признать, что он безнравственен, однако признаем мы это с неременной оговоркой:

его внутренняя сила, недоуменно уловляющая истину в сумрачных лесах, полных истомы виноградниках и роскошных горах, глубоко нравственна и не может быть иной. Страшное подозрение, что эта сила – ничто, закрадывается в его голову всякий раз, когда от его внимания не ускользает, что она лишена устоев и опоры. Она есть, и ее нет, она то, что есть, и она то, чего нет, и это – двойное ярмо, которое он вынужден влачить; возникает опасность раздвоения личности, но отдаленная, поскольку сама личность пребывает еще только в потенции. И по отношению к нему всегда закономерен вопрос: а сам-то он кто? Человек перестает видеть себя, и странное, дикое, неведомое творится уже не на земле, а с ним самим: он, вчера веривший в трех китов, в лешего и домового, в первородный грех и бессмертие души, вдруг начинает верить в безраздельную власть денег и с любопытством прислушиваться к идеалам равенства и братства, рассуждать о резонности промышленной революции и достоинствах постиндустриального общества, влюбляться в красоты своих словесных импровизаций и придавать высокое, непреходящее значение играм ума.

Михаил Литов

Древность

...за гранью прошлых дней...

А.Фет

1.

Древняя ночь августа. Жарко налиты огнем драгоценности звезд. В их жертвенной, мерцающей яркости безмолвный лес нависает столетним мраком; пропадая во тьме, уходят в тлеющее небо сосновые вышки. Я лежу в заброшенной лесной избушке, – где, когда, с кем – уже позабыл, и смотрю на костер, в груды колкого, багрового жара; он сумрачно звенит и покрывается тонким сероватым пухом. Серые тени забвения!..

И первый комар поет песню ветлужских лесов. Тонко поет зеленая глушь, ядовитая, как медянка, зыбко курит лесным светлым паром, настоем рассветных цветов.

Глушь гниет. Ночь сыра. Сумрачен костер. И толкуются, мешаются тени.

Где я? И – что я? В забытьи встают вековые, затененные недра лесов, комариная тьма колодников и еловых боров. Там во тьме старинная река блестит и уходит на низ; она уносит во мглу свои воды и омута, звезды, спящие в застойных ярах свои пески, черные моренные дубы, запавшие в сладкой тине. Журавли стоят в чародейном тумане. В лугах росисты шиповники. Пахнут миндалем ивняковые круглые кущи. Воды белеют утиным рассветом. Я лежу в курной чадной избе, в глубине заваленных древесною падалью кварталов, в гнилом хаосе лосиных болот. Дым кружится и тянется в звездное окошко. Я слышу, как кругом на десятки верст жадно растут, впиваются в землю, шевелятся и гниют лесные трущобные недра.

Комары поют. Они жалят слух тончайшим игольным писком, воспаленно зудят в сыром мраке. Они поют о красном закате костра, о ветлужских еловых кварталах, повествуют о мраке глухариних заказников.

Я засыпаю, сваливаясь в настороженную дремоту. Огонь мигает мне раскаленным звериным глазом. Смешиваясь с потемками, я вижу белоснежное, ласковое, непонятное, затем все потухает, и мне снится древний, торжественный лес, наполненный потемками. Он полон ими, и в них возникают нежно-палевые, непостижимые стволы. Призрачно поднимаются они кверху неисчислимыми бледными полосами, теряясь в густом, нависшем рождественском мире. И вдруг во мгле взрываются огромные угрюмо свинцовые серые птицы. Они рассаживаются наверху, и ломко ходят во тьме их круглые черные хвосты. И большие костяные капли начинают падать с верхушек:

Тэк-э... тэк-э... тэк-э... тэк-э-тэк-э-так-тэ-ре-так...

Играют глухари.

Грань первая

2.

Эти птицы владеют мною с самых отдаленных детских времен. В верховьях жизни, на самых потаенных тропинках встают мои первые ощущения, как бы отдаленные зарева

потухших когда-то охотничьих костров. С пожелтевшей гравюры старинного издания Брема посмотрела на меня большая неуклюжая птица, с круглым куриным телом, бородатой головой, такой, с какою теперь уже никто и ничто не бывает... Она сидела на большом хвойном суку, важная, нарисованная с тем манерным простодушием, каким отличаются старомодные охотничьи рисунки. Птица вытянула голову и собиралась лететь; глубоко под нею чернели гористые лесные громады, уходящие в непроходимую даль. Меня на всю жизнь пленили этот рисунок и особенно то, что лес уходил на нем до конца света... Что-то средневековое было в этих германских дремучих деревьях, туманно зиявших глубиной сырых сумрачных дебрей... Они поднимались, обвешенные мхами, вознося кверху целую пучину грозного лесного океана, сливаясь в черную хвойную даль. Эта даль была без конца. Высоко над верхушками сидела старая охотничья птица и смотрела через всю мою жизнь...

Пусть на дворе шумит и крутится вьюга, пусть снег заносит всю землю и шуршит, ударяясь в ставни, – мне сладко часами не отрываться от таинственных, бремовских слов.

«...Она распространена по бассейнам глухих и таежных рек...» – эпически замечает древняя книга, пахнущая кожей и кислой стародавностью. «...Встречается часто в средней части Европейской России...»

Желтый круг керосиновой лампы начинает темнеть и расплываться. Бородатая птица, сидящая над пустыней лесов, медленно и настороженно приподнимает голову. Непонятная розовая и желтоватая карта, висящая в отцовском кабинете, начинает темнеть: я чувствую, как с нее дует сырой, непроглядный ветер. Вот медленно текут и плещутся свинцовые, студеные реки, уходящие вниз. На них нет ни огонька. Желтые стены сосновых лесов стоят на их берегах; слышно, как ходят, скрипя, отдельные деревья. Снег тяжелыми хлопьями летит на сальную, неприютную воду. И ледяной мрак веет в белые сновидения детства своими хвойными безлюдными пропастями... Как стонут, насквозь продутые, холодные леса! Вьюга обсыпает их колючим снегом и заносит темнотой. А птица сидит наверху, где особенно тоскливо и ветрено, где вершины ходят с пронзительным скрипом, проваливаясь в ночь и снова возвращаясь из мрака, – непостижимая на своем сучке, одна во всем мире...

Просека чуть белеет под ней бледной снежной млеч-ностью, туманное море верхушек набегает седым прибоем. Я прохожу гудящим казенным лесом и слышу, как там наверху кора звенит и лопается от мороза. А деревья стоят прямо и часто, поднимаясь, как хвощ, плотной, черной стеной. Что-то упрямое, ненасытное и тоскливое озаряет глубину сердца. Вершины ходят, наклоняя свои голые, болотно-обреченные, бледные стебли, послушные буре, летящей из глубин таежной Сибирской пустыни. Она проносится над застывшими озерами и просеками, над полями и погостами, над всем миром и над тем далеким, уже ночным, моим губернским городом...

Где он, отжелтевший керосиновый свет юности?

Ветер шуршит в застывших кустах сирени, галки дико, чортом срываются в городском саду. На улицах холодно, и холоднее всего от заборов. И пещерно выплывает белеющая снегом улица, скучная, на которой есть кинематограф «Бразильский» и есть фотография, где уже много лет выставлены длинные портреты, люди на фотографиях – с зачесанными писательскими волосами, в сапогах; руки держат они у поддевок, оттопырив, – лица у них пожелтели от времени и недовольны. Город старый, либеральный. Тут же ветер обсыпает снежным шелестом черную вывеску с крендельными золотыми буквами:

Кениг и сын
«ДИАНА»

Я вхожу в подземное царство охотничьего счастья. Его пахучая полутьма нежно блестит витринами с широкими бликами матовых ружейных стволов. Воздух сладко настоен на тревожно-счастливом, волнующем запахе: это висят сумки и патронташи из скрипучей

шагреновой кожи. В потемках ловит время огромный плюшево-бурый медведь с новенькой двухстволкой на шее и ярко зеленым погоном. Громадная серая птица, хлопая крыльями, с надрывистым свистом срывается с пожелтевшей бременской гравюры и застывает на пыльном сучке с желтыми сосновыми иглами, рядом с черно-курчавой головой буйвола, играющего яростными стеклянными глазами. У птицы топорщится шея и отливает зеленым серебром. Она наклоняется, и широкий хвост ее разворачивается с треском, рисуя на стене пышный японский веер. Дверь старомодно хлопает домашним, отставным колокольчиком.

Старый Кениг выходит из могильного мрака в немецком тугом воротничке, в сиреновом галстуке с булавкой, в манжетах с широкими синими полосками. К его вязаному жилету тесно прижато открытое ружье, тускло отливающее синью и серым глянцевым мрамором. Старик таращит свои сизые, подагрические глаза с красными жилками и говорит, задыхаясь: – Молотой человек... да хабэн зи эйнэ прахтфолле флинтэ! О!..

И ружье, осветясь своими стальными полированными недрами, звучно щелкает, щегольски запираясь ловким гринером; ложе его отливает вишневыми сгустками темного вошеного ореха; широкая прицельная планка кажется серой и пыльной.

– Э-дуард! – хрипит Кениг-отец. – Молодой человек желает лучши бумажны гильсы...

Зеленые и красные шеренги ровных картонных трубок отражаются на стекле. Бледные лейтенантские руки молодого Кенига поражают огромным бриллиантом.

Он ловко разбивает гильзы на отделения; к ним присоединяются синие пороховые коробки с круглым неподвижным медведем на этикетке, ремни, сетки и те таинственные медные и выкрашенные в лягушечий цвет вещи, которые так аккуратно разложены за ледяными освещенными стеклами...

О, эти стекла и зачарованные гимназические пуговицы!

Во мраке прошлого Кениг-сын передает мне тяжелые, как гири, тщательно перевязанные покупки и блестит костяными отсветами своей нафиксатуаренной головы с надменным прусским пробором.

Колокольчик звякает, – и с морозным паром счастливое дыхание юности охватывает потемки улицы с ее золотистыми губернскими огнями.

3.

На улице гонит сухую снежную пыль и прохватывает ледяным сквозняком. Это – дует с Волги. Если пройти дальше, миновать Покровку и вечерний, уже занесенный потемками Кремль, с его скамейками и деревьями, тянущими в ночь свои голые, холодные щупальцы, выйдешь на откос. Там совсем пусто, бездомно, ноги тонут в темных надутых сугробах. Огромная черная бездна тускло мерцает редкими огнями, обвеивает своим пустынным, снежным и лесным мраком. Губерния уходит в темноту своими лесами, болотами и закрытыми в солому, спящими деревнями. Ветер не доносит ни лая, ни звука. Но я слышу издали, словно из-под земли, глухой набегающий мачтовый шум; резкий скрип врывается в этот ровный прибой, лес жалобно кричит и плачет; по ночной губернии идет заунывный деревянный набат... Лес набегаёт грозным, растущим гулом, осыпaeмый снегом; по реке, где нет ни души, гоняются друг за другом белые, поминальные вихри.

Здесь, именно здесь, давным-давно, весною, когда заволжские ветра становятся тревожными и влажными, проносился я, минуя гудящие лесные полустанки с их штабелями бревен, пахнущих морем, бесконечные мосты над снежными еще тростниками, семафоры, уездные станции. Березовые рощи уже туманились, опухли разной синей бахромой. Утром кричали грачи нахально, резко. Снег на промелькнувшей мимо сторожке, ярко желтой от солнца, уже распекшего заборы, осунулся и посерел. Вечером зеленый фонарик семафора говорил о пустоте березовой рощи, о хрупких сумерках, о России.

Поезд уже грохочет ночью. Я проношусь в притушенном вагоне темным лесным миром туда, на край света, в какую-то давнюю, заброшенную страну. И те же старомодные потерянные слова пленяют память под лязг и громохание дымного дальнего поезда. «... По бассейнам глухих и таежных рек... в верховьях заброшенных, заповедных речек, в мрачных сырых лесах...» – Вагон, точно приседая, еще стремительнее и страшнее бросается в свой чугунный бешеный и безвозвратный поток. «... Жизнь этих птиц мало исследована и таинственна. Она спрятана от глаз человека... они не выносят неволи и оттесняются все дальше и дальше от человеческого жилья, туда, где еще сохранились глухие чащи, ягодные непроходимые болота, дремучие бора...» Глухой, отдаленный и грустный свисток паровоза ярко прорезывает качающийся мрак отдаленного, забытого; с шумом проносятся какие-то строения, штабеля досок, вагоны – и все завлакивается влажным, темнозеленым шумом.

Какая ночь стоит над миром!

Мы выходим из домика в самый поздний, беспросветный час, и сразу все пропадает в непроходимой, беспредельной темноте. Деревьев не видно. Они слились с ночью и потонули в ней. От звезд, мигающих в смутных бездонных просветах, рябит в глазах. Они играют звелыми томительными огнями. Высь уходит головокружительной, роящейся бледностью.

Мы идем уже целую вечность.

Я не вижу лесничего, но смутно чувствую, как покачивается его неширокая сутуловатая спина, как раскачивается подвернутый рукав, закрывающий обрубок его левой руки. Мне вспоминаются его старческие бритые щеки с лиловыми отеками, его короткие прокуренные усы и худая шея в расстегнутом вороте, от которой мне всегда становилось грустно, неведомо почему; в стариковских шеях столько печального и трогательного, чего никак не выразишь.

Лесничий останавливается и шепчет тоном старинного сообщника, таинственно и серьезно:

– Ну, теперь шабаш. Вчера... здесь вот, по болоту, двух убил... Как бараны! Стойте-ка... стойте...

И он перестает дышать. Лес звенит чудовищной тишиной; я замираю от ужаса, – так громко стучит мое сердце. Но лесничий говорит уже громко и обыденно:

– А вот медведей стрелять еще интересней, батюшка... Тот, знаете, проворный. А ночью-то, ночь!

Звездное зарево побледнело. Мы идем уже уверенно: во мраке стали угадываться дымные столбы уходящих в высь сосновых стволов. Лес заредел. Речка глухо отзванивала где-то сбоку, на отлете, – ночные сумерки низкого болота встали перед нами серым призраком.

– В самое время! – дышит мне в ухо лесничий, и я ощущаю кислый запах водочного перегара. Боже мой! Он пил всю ночь, милый, седой, заброшенный... – Вы... того – действуйте, – говорит он. – А я послушаю. Только чур: стрелять под песню, итти не торопясь – птица не пуганная...

Он исчезает. Я остаюсь один во всем мире, и от счастья мне страшно и невероятно. Тихо. Разве взвести курки? Податливые, шершавые нарезки мягко поддаются пальцу и щелкают. И тут же мне представляется пустой левый рукав лесничего. Что я делаю? Рука нащупывает спуски, – и в тот же самый момент где-то недалеко, вверху, в бледно-звездной темноте верхушек, что-то оглушительно хлопает и обрывается отдаленным громом...

Я слышу, как треснула и упала шишка. Птичка жалобно и тонко пискнула в сучьях. Над болотом тревожно процикал, низкой кожаной нотой, хрипнул валдшнеп, мелькнув по серому небу, – но я не обратил на него никакого внимания. Сладкое, мучительное страдание стиснуло сердце и легкие. – Раз... Два... Три... – считаю я до ста, с тайной надеждой, что вот тогда все устроится, все прояснится, и я увижу (хотя бы один раз!) то таинственное, уже ставшее для меня страшным в своей необычности и в своем неверии, что вдруг

должно появиться неведомо откуда, из темных, жутких, давно знакомых, но уже исчезнувших дремучих дебрей. Какая смутная, древняя, языческая сила должна привести сюда, в эти звездные сумерки, ее, эту странную громадную птицу, живущую еще до сих пор далеким, древним миром, который может сниться только в неясном детстве?

Заря уже брезжила. Рваные грубые контуры сосен чернели в зеленоватом небе. Болото серело и обнажалось. Мир природы выступал своим зеленым хаосом. Все молчало. «Все погибло, – думалось мне. – Да и могло ли быть иначе?» И мне уже представился день, будничный дневной свет, мы с лесничим на весенней, светлой дороге. Он с серым прожитым лицом. Как он худ, беспомощен и жалок! «Вы не огорчайтесь, – говорит он, – глухарей все равно найдем». И в его голосе звучат старческие извинительные нотки...

Небо уже светилось. И вдруг, вверху, бесконечно далеко я услышал слабое, неуловимое шипение. Оно оборвалось, чтобы через несколько мгновений появиться опять, – непохожим ни на что на свете. Неясная лесная жизнь, дальние отзвуки бурлящего родника, забытый разговор потухающих угольков, – темное, неуловимое, неосязаемое, – едва коснулось слуха – и исчезло. И тотчас я услышал ломкие, костяные звуки, звонко и отрывисто отбившие начало песни; они участились и рассыпались в быстрое и страстное колено...

Я прыгал среди редких туманных сосен и вскоре увидел птицу, черным силуэтом застрявшую между хвойных веток. Глухарь сидел раздутый, раздвинувший свои мощные перья, поводя громадным полукругом раскинутого хвоста, в белых мраморных пятнах. Бородатая голова его приподнималась и опускалась в такт бурлящему горлу... Косматый и черный, он поворачивался в нежном и розовом сиянии, проникавшем в сумеречность сучьев. Древнее, полночное, петушиное было в этом мохнатом призраке, повисшем в рассветном безмолвии деревьев.

Задыхаясь, я навел на это черное, ходящее по суку, – и вместе с багровым, гулким, потрясшим весь лес ударом, сразу понял, что все погибло. Громадная птица грузно встрепенулась, ринулась вниз и, круто захлопав и свистя, замелькала среди сизых курящихся сосен. Ружейный дым шел по земле синими, сырыми кругами. Я бессмысленно бежал, спотыкаясь между пней, гнилых сучьев, мохнатых и грозных стволов. Отдаленные звуки и шорохи еще стояли в ушах. И острая предсмертная боль, целый разгромленный мир, погубленный мною, застлали весь лес, сочились горячими, ночными звездами, еще стоящими в глазах; нестерпимо жгучие нависали они, расплываясь горячими, задохнувшимися соснами, стекая палящими солеными жгутами, закрывая все ослепляющим блеском. Разбиваясь в грязные струйки, падали они на мое первое ружье.

– Иван Михалович!.. Иван Михалович! – кричал я, цепляясь о сучья, безвозвратно погибая, захлебываясь в диком отчаянье и ужасе. – И-ван Ми-халович!..

Грань вторая

В лесной избе было тускло и чадно от густого серого дыма. Черные прокуренные бревна нависали из мрака и, поблескивая мокрой смоляной копотью, грустно отсвечивали рассветом, поздним и сырым. Рассвет еле сеял свои полосы в низкую дверцу. В этой бледности была предосенняя гиблая лесная пасмурность, когда зелень становится чересчур яркой и глядит утомленно.

Зарудин проснулся от душившего его бреда – и с трудом поднял свое тело со сбившегося, колючего сена. От косых и неровных нар тело ныло свинцовой усталостью. Он слез с досок и ползком выбрался из прелой, дымящейся избы. Тусклый, залитый водою, затянутый туманом мир сразу обдал его тысячью своих запахов. Лес парил. Ночной пряный дух поднимался от земли. С лугов душно пахло болотными цветами. С облаков сеялся тусклый свет, похожий на сияние. Комары тонко и надсадно звенели у зудящего лица, в горле першило.

И Зарудину стало сразу не по себе и одиноко на этом усталом лесном рассвете. Повяло, нанесло откуда-то легким дуновением отдаленного, полузабытого сна. Спускаясь к речке, задевая кусты, окутанные ночными махровыми запахами, он ощутил на сердце звенящую пустоту, и блаженную, и сладкую. Быстротечно пронеслась легкая юношеская тень, повеяло просто и кратко радостью милой памяти... Старичок Иван Михайлович скончался восемь лет назад. Он заброшен, всеми забыт, никем не оплакан. Вода на речке стояла в забытьи, осиротевшая, почти осенняя. Большие кусты сутиными лапчатыми листьями касались воды, и вода обдавала холодком лесной черной смородины. Славно поплескаться в дикой, заброшенной на краю земли речке, ощутить в себе буйные старинные силы! Поднимаясь по белому от росы косогору, Зарудин ничего уже не помнил: мир жизни охватил его свежей, играющей силой. Огромные коршуны парили над лесом, их дикие крики говорили о пустоте осенних лесов и отлетных стаях.

На тонких московских часах еще нет четырех. Пожалуй, дождя больше не будет, но лес надолго еще останется и сырым, и туманным. Это плохо: глухари не любят воды, и после дождя не будут широко ходить, – с собаками можно пройти мимо самого выводка. А ведь середина августа, – самое время для летней глухариной охоты. Молодые уже выровнялись, заматерились, нагнали крепкое перо. Петушки одели свои распадающиеся, тускло-зеленые воротники, потяжелели на урожайных нынешних ягодниках и, подымаясь, летят с тем надрывистым тяжелым присвистом, который так веселит сердце записного охотника. Выводки прочно держатся своих излюбленных мест. Смешанные глухие перелески у зимних дорог, ягодные боровины, сухие песчаные веретья, поросшие вереском и столетними соснами, осинами и елями, – обычные их угодья, где с хорошими лайками можно всегда наткнуться на этих прекрасных, сторожко-отшельнических птиц...

Изба еще курилась, когда охотники, бросив лайкам последние куски, не оборачиваясь, задевая ружьями росистые ветки, пропали в омуте курящегося зеленого дыма. Старик шел впереди, не торопясь, перелезая через поминутно вырастающие громады павших стволов, ловко мелькая между переплетенных, перепутавшихся и склонившихся друг к другу деревьев, сучьев и кустарников. Изредка он останавливался и свистел собакам, и тогда Зарудин снова и снова с любопытством вглядывался в его странный, непостижимый, таинственный лик.

– Алексей Яковлевич, – хотелось спросить ему, – кто вы: тотем? дикий с острова Таити? жрец, умерший пять столетий назад? или просто милое человеческое дитя?

Но старик непостижим. Кожаный старый картуз скрывает его длинные покойницкие волосы, падающие прямо и сквозящие коричневой, грязной, старческой плешивостью. Глаза его наивны, сини и поражают своим широко открытым спокойствием. В неровной инородчески-редкой бороде, как всегда, застряли крошки, оброненные его непомерно большими, обвисшими губами, с постоянно запекшейся синевой. Он стоит, вросший в землю, в корни, в буйную густоту зеленых неисчислимых стеблей, в своих серых портяных лохмотьях и кажется обветшалым старинным идолом.

– Х-уть!.. Ху-уть! – кричит он таким тонким и жалобным голосом, что рябчики трескучим веером поднимаются в густом ольшанике за болотом... – Мотик!.. Мо-тик!.. Ху-уть!

Мотик серебристой тенью мелькает среди елок, обнюхивает на ходу моховые кочки и бросается, поводя кругами, за болото. За ним вырастает из-под земли черная Кукла, остроухая, с зелено-серыми хрустальными глазами. Она смотрит на охотников и, виляя хвостом, извиняется: «Ну, что же, – говорят ее звериные взоры, – я не виновата... Мне тоже хочется попробовать теплые глухариньи кишки, но их нет...»

Зарудину видно, как собака быстро уходит в лес, как она останавливается, вбирает с земли целый мир недоступных человеку запахов и следов. Она ищет тревожно, то поводя

носом, то стремглав бросаясь вперед. Зарудин снимает с плеча мокрое ружье и пробует предохранитель: ружье готово...

– Алексей Яковлевич, – шепчет он, – собака-то заметила...

Но старик невозмутим, как всегда, и, как всегда, одинаково его коричневое лицо в черно-синих угрях и пятнах.

– Не пройдут... – отвечает он тоже шопотом, но просто, обыденно, – собаки-то... Энтот вот помоложе, а спо-собистей. Гляди, и на потку никакую не взлет.

Собак уже не видно. Желтыми и фиолетовыми колоннами стояли сосновые стволы и оливково тянулись в самое небо ветлужские сказочные осины. Ели свисали клочьями синеватых мхов: на них страшно смотреть, в глазах темнеет, когда запрокидываешь голову... Капало, стекало с деревьев. Шагов не было слышно: лапти глубоко тонули в напившемся, пышно-податливом мху, поднимавшемся отовсюду мириадами своих ярко зеленых звезд. Лес обволакивал своим душным дыханием, своими дурманными красками, своими шорохами и звуками. Где-то простучал дятел, и далеко отдался его резкий оборвавшийся, пулеметный стук. Желна захохотала в сучьях, зловеще махнув в сумерках хвойных иголок клоунскими радужными перьями... Все влажно дышало кругом, сладко упиваясь росистой ранней свежестью. Черника раскинула свои голубоватые ковры, осыпанные неисчислимыми шариками ягод, затуманенных матовой сизой пылью. От ягод голова идет кругом, – синие росыпи их покрывают пни, обомшелые колодники; ягоды лезут под ноги; они поднимаются, унизав высокие кусты, кочки, пригорки, тянутся целыми полями. Руки и губы уже покрыты их лиловыми несмываемыми чернилами. А их все больше и больше. Как, наверное, сладко, вольно и беззаботно пастись здесь лесным птицам, слушая внимательное квохтанье большой оранжево-круглой глухарки, встречая каждый день лесные рассветы! Как сладко дремать им, прижавшись к замшелой дремучей ели, высоко под звездами, над мраком хвойных пустынь, когда внизу господствует сумрачнейшая тишина верхушек. А бури, когда лес скрипит и качается!.. А грозы...

Бледное водяное сиянье дня становилось яснее и прозрачнее. Иногда небо прояснялось, – атласный, вымытый провал его сиял девичьей утренней прелестью; солнце прорезывало золотыми пивными искрами столбы светового тумана, восходящие в лесных просветах. И на солнце сразу становилось жарко, начинали звенеть мухи. Большие желтые бабочки трепетали, срываясь с широких листьев.

Охотники погружались в мохнатые еловые дебри. Стемнело и засырело. Итти становилось все трудней от навороченных гнилых колод и вставших корней, потянувших за собой землю, со всем прижившимся к ней зеленым, впившимся в коричневую гнилую труху миром. Ноги проваливались в гниющую древесину, из мрака которой тонко звенел и поднимался столбом комариный окаянный зуд. Голову кружило от сладковатого эротического запаха грибов, разбросанных повсюду. Белые боровые торчали из-под еловых шатров, поднимая свои коричневые замшевые головки. Лес опускался вниз.

«Странно, – думал Зарудин, еле выволакивая ноги из цепких сучьев и пахучей гниющей трухи, – мы привыкли чувствовать лес плоским, растущим на ровной площади. В сущности же говоря, какие это горы, долины, пропасти!»

Ему представилась уходящая в даль, искореженная пнями, морщинистая от повалов, гор и откосов пустая порубленная гарь. Чувство острой жалости охватило его от сознания, что так, именно так скоро оно и будет... Топор и пила обнажат бугристую шишковатую голову земли, состригут, сбреют эти густые пышные зеленочерные кудри. И этот старик, нищий, грязный, звериный... Как он сросся с сизым сумраком этих стволов, болот и гниющего дерева!.. Даже его ружье, – кусок выверенной, сверленной стали, бывшей совершенным американским военным изделием, – приспособилось к нему, осторожному, слитому в одно целое с ржавыми, зеленоватыми, серыми красками. Деревенский кузнец приделал к

коробке скорострельного винчестера огромную заржавленную стволину, с напаянной кривой мушкой. Ружье покрылось глубоким слоем застарелой, навсегда запекшейся ржавчины. Но сколько прекрасных зверей и птиц полегло под дымными, громовыми ударами этого грубого, почти древнего орудия.

Чорт знает что! Зарудину представилось, как бьется на земле подкарауленный, выслеженный, обманутый глухарь, отливающий на весенней красной заре зеленой амальгамой, кофейным шелком мощной груди, белым атласом подкрылий, тончайшим серым крепом перьев ювелирной работы... Даже кровь, столь ужасная на человеке, прекрасна на его зеленом роговом клюве – висящая сгустком влажного вишневого бархата... В его огромных глазах, округленных золотым ободком, еще живет ужас, он еще помнит огромную, кинувшуюся тень, которая склонилась к нему своим коричневым ликом идола, детскими широкими глазами, грязными, затертыми портянками лохмотьями...

Зарудину стало противно, отвратительно, мерзко. Завоеватели! Вспомнились – темная изба, с ее кислым прелым запахом, печь, на которой постоянно сушатся зловонные онучи; девки, тощие, голенастые, с прилизанными коровьим маслом, а поэтому дурно пахнущими головами. Ему припомнилась последняя ночь в той душной, притуленной к печке избе, где этот старик прожил всю свою жизнь, все радости и надежды: от подушки кисло тянуло тем же прогорклым маслом, всю ночь обжигали клопы... Зарудину сразу стало грустно, одиноко, он почувствовал, что устал, что этот старик, которого он считает своим другом, в сущности говоря, чужд ему, непонятен и ужасен.

– Переделывать! Переделывать! – шептал он, с трудом волоча ноги, – камня на камне не оставить на этих вонючих вшивых гнездовьях... Вредители! Чудища! Навозный компресс на теле республики...

И старик, неторопливо шагавший со своей огромной кочергой, показался ему большим серым насекомым, забившимся в заношенные складки дряхлого умирающего мира.

5.

В лесу сразу залились, яростно перебивая друг друга, собаки.

Гау... гау... гау... – бросал заунывно, забирая все грознее и переходя в остервенение, Вотик. Гав, гау! Гав, гау!.. Гав, гау, гау... – кидалась с женской страстностью Кукла. Лес зазвенел, зааукал и наполнился громом и треском тяжело поднимающихся крыльев... В соснах и елях замелькала косо забирающие, надтреснуто свистящие во все стороны серые глухариньи копны. Собачий лай слился в завывающий серебристый набат. Ау, ау, ау, ау, ау, ау, – отдавалось по лесу, заглушая осторожное: куак... куак... куак...

Как в тумане, Зарудин увидел огромную пепельную птицу, севшую прямо напротив него на верхушку одинокой, задранной в самое небо, ели. Снимая на ходу ружье, он бросился вперед, рукою сдерживая колотящееся сумасшедшее сердце. С легкостью перемахнул он через скользкую мокрую колоду, продрался через колючие кусты и замер:

Легко, благостно и безбрежно парили в небе пуховые, завитые тучки. Еловые черные лапы, не двигаясь, плыли куда-то в лазурную теплую даль, – непоколебимо, неподвижно разрезывали они белые облака. Тишина и спокойствие опочили на еловых ветках, и белое, воздушно-легкое, перистое, – то, что стояло над верхушкой, – казалось детским и пушистым. В висках звенело, голова уже затекала, небо начинало темнеть, но Зарудин не видел птицы. Он ходил вокруг дерева и все больше и больше убеждался, что глухаря ему не найти. Он чувствовал глухой шум в голове, в виски четко стучало сердечным молотком, знакомое охотничье отчаяние холодком пробиралось за спину.

– Миколай Миколаевич... – услышал он вдруг страстный, сияющий шопот.

Он оглянулся. Старик стоял, высоко закинув свою обвисающую пыльными волосами голову, и показывал ему вверх... Не чувствуя земли, спутываясь ногами, перехватывая хриплое дыхание, тот тщетно бродил глазами – и наконец увидел: глухарь чуть брезжился низко опущенным хвостом, уплывая вместе с вознесенной вершиной навстречу неподвижности снегового облака... Ружейные стволы на миг закрыли его сливающуюся тень, секунду он задержался между двух стальных полукругов, – и ружейный удар показался особенно гулким, подрезывающим и посадистым. Громадная птица плавно, не задерживаясь, мелькнула в воздухе, безмолвно и мягко стукнувшись темным бултыхнувшимся зобом и распавшимся ворохом перьев. Одинокое перышко, крутясь, опускалось в воздухе.

Держа птицу за длинные шершавые ноги в плоских роговых пластинках, Зарудин еще раз ощутил истому дикого, необъятного счастья... Собаки заливались впереди – и это сулило еще то новое, тревожное, острое в своей сладкой и сердечной тоске, которое, он чувствовал, повторится опять, которое было сейчас и которое будет еще впереди без конца... Это без конца было особенно сладостно, и, очевидно, потому, что охотничье, древнее всегда поднималось из пройденного, векового, затерянного в забытом, туманится синеватым куревом потухших костров, светивших много лет назад, зовет неизведанными дорогами вперед, – никогда не иссякнут темные, уходящие вдаль неведомые охотничьи дороги, никогда не умрет темное счастье предчувствий, погони, удачи, счастливой охоты...

Он неожиданно понял, как страстно любит жизнь – мучительной, детской, охотничьей любовью. Ему вспомнился смутный и очень давний мир, горящая тьма, ужасные звезды, разгромленный бор, – но полностью всего он не мог уже припомнить... В своем ощущении мучительной влюбленности в этот лес, в этот дикий, неприветливый, почти каменно-угольный ландшафт, в этого старика, вдруг сказавшего так необычайно, так древне соучастнически: «Миколай Николаевич...» – когда они стояли под древней, сказочной добычей (сколько веков тому назад!), – в своих ощущениях Зарудин смутно различал только одно: это никогда, никогда не кончится.

6.

...Без конца чернел, уходил, закрывая все – горы, реки, долины, – тысячи верст, – неисчислимый, мелькающий и сереющий сонмами дымных прямых стволов, хвойный и сырой лес. Он стоял, вырастая все выше и чаще, поднимался, как неведомый дикий народ, покрывший некогда райскую зеленую землю бродячими древесными ордами. Нет им числа и имени. Курились болота, тихо шли на низ черные реки, гигантские тени падали на былую землю вольной травы. Валились, гнили на болотах синеватые, погибшие стволы, высокие лесные кремни стояли над горящими, над торфяными топами пустынных низин.

Еловый мрак заслонял солнце, играл изумрудный мир несметных, жужжащих оводов.

Бор сухо звенел струнами своих натянутых стволов, провевая себя зноем, грея свою заповедную скользкую сушь.

Красный лес, старый лес! Сосны прорастали кладбищами времен, поднимая крестами мириады своих тусклых, серых вершин, хороня свои столетия, тайну былых бизоньих бархатных пастбищ. Лес рос, жадно пил свои соки в темноте земли. Стоячие воды кишели прожорливым, звенящим счастьем бессмертных личинок, кипящих в оцепенелой, великой тайне гниения. Солнце медленно падало, опускаясь ниже и ниже в комарах и мертвых прохладных тенях. Лес синел, подымаясь и опускаясь до конца света – непроходимый, непобежденный. В глубь его уходили охотники. Один из них, длинный, беспечный в своих лохмотьях и лаптях, с отполированной до сиянья, дорогой бескурковкой, был увешан огромными, раскинувшимися до земли птицами, мотающими свои тяжелые древние головы. Он брел устало, но охотно, был весел, иногда улыбался и свистал...

Да ведь это же из Брема!..

Непобедимая древность! Охотники уходили все дальше и дальше.

Иван Касаткин

«Очень недурно, очень!»

Из книги «Заметки читателя»

Иван Михайлович Касаткин (1880–1938).

Хотя литературная деятельность Ивана Касаткина длилась более тридцати лет, написано им немного, и едва ли не все его сочинения уместились в выпущенном в 1928–1929 годах издательством «Земля и фабрика» трехтомнике рассказов. Большинство их он создал и опубликовал в десятилетие между первой русской революцией и Первой мировой войной, на которое приходится наивысший подъем его творческой активности. Писательство Иван Михайлович вообще считал делом случайным в своей жизни.

Родившийся в деревне Барановицы Кологривского уезда Костромской губернии, в крайне бедной крестьянской семье, он рано узнал, почем фунт лиха, вынужденный вместе с родителями скитаться с места на место в поисках заработка. Он писал в своей автобиографии: «Вот мы всей семьей пошли батрачить по усадьбам, а затем понесло и разнесло нас по городам (...) понесло в гиблый городишко Кологрив и дальше, на Волгу, в Кострому, Нижний, Астрахань, снова в Кострому, снова в Нижний, на долгую нищету, на неописуемую маету». С 9 лет будущий писатель приобщился к труду: чистил паровые котлы, служил половым в трактире и статистом в театре. Школьного учения он так никогда и не узнал и грамоте обучился по книжкам, торговать которыми, по копейке за штуку, одно время подвизался.

Затем от учения, а также от пробудившейся страсти к сочинению рассказов и стихов его отвлекало весьма активное участие в революционной деятельности, не однажды приводившее молодого человека в тюрьму. Впрочем, по совету друзей-рабочих он закончил вечерние курсы грамотности, а в Петербурге учился стихосложению у известного поэта К. К. Случевского. Нижний Новгород занимает в биографии Ивана Михайловича особое место: там его, печатавшего в подпольной типографии листовки, впервые арестовали и с декабря 1904 по ноябрь 1905 года держали в тюрьме, и там же в 1907–1908 годах в газете «Судоходец» он в первый раз заявил о себе как писатель, опубликовав написанные в одиночной тюремной камере рассказы «На барках» и «Нянька».

Тут уместно отметить, что Максим Горький, тесно связанный с Нижним, приветствовал литературные опыты Касаткина, долгие годы вел с ним переписку, а также оказывал ему материальную и моральную помощь. Затем он печатался в таких журналах, как «Новый журнал для всех» и «Просвещение», – последний выходил под руководством Ленина, выражавшемся прежде всего в требовании: «беллетристику.-пускать только демократическую, без нытья, без ренегатства». В 1916 году вышла в свет его первая книга рассказов «Лесная быль». В годы Первой мировой войны Иван Михайлович, по инициативе Е. П. Пешковой, собирал осиротевших детей в районах Юго-Западного фронта и отправлял их в Москву, а после революции он продолжил подобную же деятельность уже по заданию ВЧК, занимаясь беспризорниками. Начиная с 20-х годов Касаткин редактировал журнал «Красная нива», в 30-х выступил также редактором Гослитиздата.

В эти же годы он возглавлял Всероссийский союз писателей, одно из творческих объединений, помимо которого существовали еще РАПП, ВОКП, МАПП... Борьба между ними шла нешуточная. МАПП объявил культуру прошлого бесполезной и даже враждебной пролетариату, РАПП эту «теорию» подхватил. Касаткин в статье «Литературные ухабы» при-

звал, очистив «старое здание литературных наследий» от «ернических надстроек», появившихся в годы декадентства и реакции, сохранить «главный корпус для полезного в нем житья и назидательного изучения его конструкций». В 1938 году писателя, задумывавшего роман о новой деревне, репрессировали.

В письме Бунину по поводу его повести «Деревня» Касаткин писал, что хотя русская деревня и пребывает во тьме, ее «сердцевина и силою велика, и духом светла». Между тем в дореволюционных рассказах самого Ивана Михайловича можно увидеть как бы две деревни: одна погружена в беспросветную нищету под гнетом кулаков, другая – беспечно веселится, показывает пьяную удаль. В изображении второй бесспорно больше таланта, в рассказах этого рода берет свое природная склонность автора к юмору.

В том и другом подходе к теме трудно разглядеть не только «светлую духом сердцевину», но и имевшееся, возможно, автором в виду предположение, что как раз пьяная удаль служит одним из главных препятствий на пути деревни к лучшему будущему. Еще одна грань таланта писателя, может быть самая замечательная, раскрывается в его зарисовках природы, душевных состояний, чьей-то внезапно и как бы ненароком выхваченной жизни. Когда после тюремного заключения в Нижнем Новгороде Ивану Михайловичу запретили жить в этом городе, он, получив вид на жительство в Семеновском уезде, служил «культурным надзирателем» при Лыковском лесничестве. Название должности звучит довольно странно для нашего слуха, но, кажется, она оказалась бы совсем не лишней в наших нынешних лесах. Вполне вероятно, что именно это «надзирание» побудило Касаткина к написанию рассказа «Лоси», который мы и перепечатаваем из книги «Перед рассветом», изданной «Советской Россией» в 1977 году.

Горький писал Касаткину в 1915 году: «Читал «Лоси». Очень не дурно, очень!».

Михаил Литов

Лоси

1.

Выше и выше уходит в звездную синь одинокая печальная луна. Мороз притаился сторожкой невидимкою и шьет-пошивает свои узоры. Невыразимо тих лес, в этот час наступающей ночи. Луна и глушь... Оседают иней. Ни шороха, ни звука. В лунном свете лес бел, прозрачен, весь он затейливо сплелся ветвями – белыми кораллами. Тут и там встали серебристые арки вершинами пригнувшихся к земле берез.

Тишина.

На сотни верст расхлестнулась дремная глухомань, море лесное, спрятавшее буревалы, кочи и норы в пуховом снегу и инее.

Вторая мерцанию звезд, на снегу горят-переливаются синие искорки. Луна плывет над вершинами. Ничто не шелохнется. Лесная хмури скована зимним сном, зачарована голубоватым лунным светом, тонко звенящей тишиной.

Ни звука, ни движенья...

2.

В березовой поросли, в непролазном болотном чапыжнике залегли лоси. Осели тут на зимовье.

С осени они избродили огромные пространства. Были у Ветлуги, переметывались к истокам Керженца, появлялись на Пыщуге и Ухтыше – и везде этот неугомонный человек и стук его топора!

В предраассветную пору, пробираясь к этим местам, они видели уныло-тихий лесной кордон. Жалобно поскрипывали на утреннем ветру полусломанные, расхлебаченные ворота. Петух домовито пропел раз и два, когда лоси были уже далеко и гуськом, след в след, удалились сюда, в дику болотную чапыгу, подальше от запаха жилья и человеческих следов.

Уже вторая ночь, жгуче-морозная, медлительная, охраняет покой лосиный. Уже обталяли под ними в снегу лежки – бурые котловины.

Вот и зимовье – тут и быть.

В густо заиндевевшем чапыжнике, как раз под узловатой болотной березкой, темнеет на белом двойное взбугрившееся пятно – матка и теленок, головами в разные стороны.

Поодаль дыбится из лежанки, копною округленная в спине, матерая туша рогачалоса.

Морду он подвернул к боку, и рога, приложенные к спине, в бледном свете луны обрисовываются четко, роняя на синий снег ветвистую тень. Челюсти изредка жуют жвачку. Широкие лопастые уши время от времени сторожко прядают.

Чутко дремлет рогач. Тонкий слух настроен неусыпно.

Но – тихо кругом, тихо...

3.

Полночь.

Луна в зените – и еще ярче, еще сказочнее свет ее и лес в морозной лунной синеве.

Среди буревала, причудливо укрытого белым пухом, вьется, виляя меж деревьями, свежий лыжный след. Вблизи он тускло стеклянится, слабо отражая в себе лунный лик, а дальше – теряется в матовой искрометной белизне.

Огибая высоко вздыбившийся выскирь бурелома, по следу бесшумно выплывает на полянку человек, черный в окружающей белизне и синеве, лохматый, в шапке-ушанке, с ружьем за спиной.

На полянке прислонился плечом к дереву – и будто задремал, одеревенев, как та темная стволина.

Долго стоял он так, неподвижно, повесив веревочки от лыж на руку.

С другой стороны, от ровной болотной низины – чу? – нарастают тихие размеренные шорохи-вздохи...

Шевельнулся человек у дерева, тихонечко двинулся по стекляневшейся лыжне навстречу шорохам – и вот под огромной осиной, странно-зеленой в свете луны, сошлись два человека.

Они некоторое время молчали. Стояли и молчали. Видно было, что не впервые они сошлись в эту ночь на уторенной лыжне.

И разговор их потом был краток и тих.

– В кругу ли?

– В кругу.

– То-то...

Еще постояли неподвижно, молча. И вдруг, оба враз, по-солдатски замахали руками – для согрева.

Первый, у которого было ружье за спиной, снял рукавицу и ощипывает сосульки с усов и бороды. Потом он отогнул у шапки уши и несгибающимися пальцами долго завязывал их у подбородка.

А тот, другой – приземистый, до глаз по-бабьи обмотан платком, кудряво заиндепевшим от дыхания. При его малом росте голова в платке казалась огромной. Моргая белыми бровями, он глухо, простуженно засипел из-под платка:

– Скружим еще раз?

– Пожалуй...

– Да и на кордон вестить.

Еще немножко помахали руками и разошлись – один в одну сторону, другой – в другую. Будто растаяли... Недолго тихонечко пошорыхали их лыжи среди бурелома и белоко-ралловых кустарников, нарушая звенящую тишину.

4.

Тягуча и долга бывает зимняя ночь в дикой лесной глухомани. В такую ночь и сон и явь по одной тропе бродят.

Но вот звезды начинают тускнеть. Меньше горит алмазных искр и на белом пуху. Луна пошла книзу. Диск ее уже не так ярок, он чуть зарумянился золотым налетом, а вокруг – венчик легкой золоченой дымки.

Тени по земле удлинились. И лес, ажурно сплетшийся ветвями, понизу загроможденный буреломником, стал не так воздушен и прозрачен. Ушло сказочное ночное. Чуетесь близость утра.

А мороз крепчает и крепчает.

Лесная дорога корытцем, еле приметная, козыряет так и этак, увертываясь от низин и увалов. При ней – кордон: длинная старая изба шестистенная упилилась службами в гущу бора.

Ни огня, ни звука...

Сказочны и странны в предутреннем лунном свете полусломанные распахнутые ворота. Над воротами чучело какой-то большой нелепой птицы на шесте. Городские троечные пошевни, видные в расхлебаченном дворе, поблескивают гвоздиками и наугольниками жестяной обойки задка.

Во въезжей, на сене, настланном на весь пол, спят трое охотников. Натоплено жарко. Люди разметались как попало. Один, в скобелевских усах, густо всхрапывает, и усы тихо-нечко шевелятся, вздымаясь и оседая.

Косо и тускло врезался сюда предутренне ороговевший свет луны. Затейными изломами отпечатал он на спящих охотниках крестовину оконной рамы.

Лунным же лучом выхвачен из сумрака край грубого стола и желтая спинка стула с прорезом в виде сердца. На освещенном краю стола поблескивает плечиком бутылка, бело разбросаны окурки папирос, торчит ножик, воткнутый в хлеб. Какие-то ремни валяются, патронташ...

За стеной, в людской, спросонья глухо начинают гудорить голоса. Тоненько заныл там ребенок, заскрипел шест люльки, ударяясь во что-то: взрык, взрык...

Луна и здесь, в людской, кладет косую крестовину рамы во весь пол и загибает ее на бревенчатую стену, освещая ноги обувающихся лесников.

В сумраке виснут густые и тягучие вздохи, зевки, хруст потягивающегося тела, азартный чес. Навиваемые на ноги онучи кажутся бесконечными...

Но вот торопливо, ядрено и твердо проскрипели по двору шаги, направляясь от ворот к людской.

Где-то на сеннице яростно залаяла собака, но тотчас перешла на дружелюбное повизгиванье.

Рыкнула смерзлая дверь в людскую. Вошедший крякнул. Зевки и чес сразу сменились оживленным разговором про лес, про лосей.

В подполье петух запел. Кто-то, ругаясь, искал рукавицы. А дверь то и дело рыкала, и голоса людские и шаги уже расплзались по двору, застревая в сарае, на сеннице, что-то улаживая под окнами.

Завозились в сенцах въезжей, шаркая по стенам. Что-то упало там – решето ли, кузов ли, – и мужицкий голос, частобаем выругавшись на баб, твердо сказал:

– Пора будить.

– Знамо... – кто-то ответил. – Самый клек.

5.

Увеличенная, потерявшая правильную округлость, теперь медно-багряная луна скатилась уже до верхушек леса, и самые высокие ели рисовали на ней четкие крестики. Сбоку же, неведь откуда взявшись, прильнуло к ней длинное серое узкое облачко – косо растянлось оно по небу, будто зацепилось длинным хвостом своим за вершины леса.

Стал оседать иней. В его прозрачном пологе небо утерало свою бездонность, почти слилось с белизною земли и леса, тут и там слабо отчеркнутое вершинами.

Мороз мякнул.

Укрытые чапыжником и березовыми молодняками, лоси по-прежнему мирно лежат на болоте. Хребтины припорошило инеем. Они теперь почти не приметны.

Дремлют затяжной утренней дремой.

Теленок просунул свою голову под самый бок матки, а та, вытянув шею, поместила угловатую свою морду вдоль спины детеныша. Самец давно перестал жевать жвачку, но уши его время от времени все-таки лениво прядали.

Тихо кругом. Бело, ровно и тихо. Лес дремлет мертвым зимним сном. Быль или небыль?.. Сон...

Уши рогаца вдруг тихонько вздрогнули и насторожились. Сами собою насторожились уши, но дрема еще не покинула лося.

Потом эти самые уши внутренней стороной сразу вывернулись как-то влево, подержались малое время так, потом – вправо. Ноздри с шипением потянули в себя воздух. Дрема потревожена.

Лось почувал что-то.

Но тихо кругом, тихо...

Еще два-три мгновения – и лось невероятно быстро и легко, будто пружиной выброшенный, взвился из логова на ноги и замер, неподвижный, среди белого – темная скала, красившая в своей неуклюжести, с высоко поднятой головой, ветвисто увенчанной рогами.

Уши быстро вывертывались туда и сюда, настораживаясь, а широкие ноздри шумно вдыхали острый утренний воздух болота – знакомую горечь березняка, гниющих подснежных мхов, осинового коры.

В тот же миг и так же быстро и легко вскочили самка и теленок.

И так стояли трое.

Всхрапнув, самка тоже запрядала ушами, а лосенок, глупый, посовавшись у ней под брюхом, спросонья потянулся сначала на передние ноги, потом на задние, встряхнулся и беспечно начал охмыстывать с молодняков почки.

Красная, расплывчатая в усилившейся мгле инея луна катилась уже за лесом, за ажуром вершин.

Ночь отходила. Тишина... И в ней притаилось что-то грозное, роковое.

Вот-вот грянет...

Но – что?

6.

Почти ободняло.

Белесая утренняя просинь залегла и в небе и понизу, меж стволов и обвисших ветвей.

Синица одинокая серебряно затенькала где-то. Дымчатым комочком вылезла из дупла белка и, впусшив хвост, воздушно перемахнула на другое дерево.

На дороге, на укатанный лесной проселок, оставляя позади правильную прошву следов, осторожно пробирается лиса. Вышла, обнюхалась и деликатно, по-собачьи присела задом в корытце санного наката.

Глазки у ней остры, умильны и в то же время дремны по-лесному, какая-то древняя зелень в них лесная.

А синица одинокая: тень, тюнь! – прозрачно и светло все ударяет да ударяет по серебряной струнке.

Лиса вдруг зашмурыгала острым носиком, тихонечко подняла зад, прислушалась, поставив уши прямо, и быстро скрылась, оставив за собою по снегу правильную, как по линейке, стежку следов.

Синице хрустально откликнулась другая – и зазвенели две струны...

Через малое время, скрипя и покеркивая, по дороге вытянулся обоз – тридцать два воза со щепным товаром.

Мужики, сонные ветлужане, в распахнутых заиндевелых тулупах, как в ризах, с кнутами под мышками, тыкающей походкой бредут за возами.

Долга была ночь в пути, много переговорено, устал язык, устало тело, онемели ноги. В самый бы раз навалиться на ведерный самовар, упреть да на часок в медовую дрему, пока кони кормятся...

От возов приятно несет сухой липой и лаковыми ложками. Из-под увала обоз медленно, как большая змея, выползает на поляну, к распахнутым воротам кордона – тут и кормежка.

Так уж водится испокон века.

Передние воза что-то там замешкались, встали, и весь обоз, убавясь в длину, сомкнулся, стал: хвост спустился под увал, голова – на поляне, у кордона.

От задних возов не видно – почему встали? И идти туда лень. Лошаденки, мухрастые вятки, понурились, парят ноздрями, носят боками – отдыхают.

Передние мужики сгрудились у ворот кордона, обступили что-то своими широчеными тулупами, тыкают кнутовищами, гудят и дивуются, сбивая шапки со лба на затылок.

– Ну, и матер! Вот туша, братцы, а?!

– Пудов, чай, полста. А рога энти самые...

– Да-а... Ватажный, одно слово!

– А што я скажу вам, барин, – подошел еще один, обсусливая снеговой бородой сигарку. – На зорьке седни, едучи сюда, мы видели двух неподалеку... Ну, только – матка и телок. Пронеслись, значит, вихорем через дорогу, альни пух летит! Вот и Митрий скажет...

Лесники на крыльце, те, что ночью скружали лосей, чистят ружья, протирают их, а запасная пакля – в зубах. Петух на сеннице орет и орет, так что эхо в лесу раскатывается.

Ворона откуда ни возьмись села на поднятые оглобли городских пошевней во дворе, понатужилась и осипло каркнула, будто подавилась.

На середину двора выскочила молодуха, рябая и босая, с подоткнутым подолом, с толстыми икрами поросячьего цвета, и начала вытряхивать огромный рыжий самовар. Ворона сорвалась и боком, делая круг, полетела куда-то за крыши служб.

Скрипя и повизгивая, обоз понемножку распрягался. Оглобли подымались стойком в белесое утреннее небо. Попахивало от обоза липой, лаком и овсистой пометом.

Из трубы старого кордона закуривался сизый дымок. Остро и приятно в свежине воздуха шибало в нос этим дымом и овсяным киселем – жильем пахло.

Фыркали лошади, хрустя заданным сеном. Домовито звучали голоса – люди пробирались от возов в тепло избы.

Тощая собака, сделав хребтину дугой, поджимая хвост под самое брюхо, мелко дрожа, слизывала кровавое пятно на снегу и на лету ловила языком яркие красные капли, что сочились из паха рогатой туши, уже взваленной на дровни.

Дело праздничное

Заунывная песня в шесть глоток распирала стены зимницы. Сизый сигарочный дым облаком повис от земляного пола до потолка. Была как раз масленица.

Когда четыре порожних посуды уже валялись под столом, а в пятой осталось на донышке, Василий Пустых, пермяк – соленые уши, захолустный народник, помощник машиниста при лесопильне, окинул всех мутным взглядом и тяпнул кулаком по столу. Посудина выграла и покатила на пол, а бородачи пыльщики на минуту приумолкли и сонно, тыкаясь носами, посмотрели один на другого.

И снова затянули песню. Горько морщились и возили бородами по мокрому столу.

Тогда Василий Пустых тяпнул кулаком еще крепче и привскочил, пьяно освирепев.

– Рррабы-ы! – взвыл он, выкатывая белки глаз. – Племя ослиное, дери вас черт! Дьяволы вы! Как с вами жить, а?!

Пил он наравне с другими. Управляющего лесопильней, то есть попросту хозяина, и его гостей катал сегодня: запрягшись в розвальни, наравне с другими, чуть ли не в корню шел. И трешницу на пропой управляющий сунул в руки не кому-нибудь, а ему, Василию Пустых.

Кочегар Киря вытаращил не него безбровые глаза. По скопческому лицу Кири расплылось недоумение: чего ради беснуется человек? Сидел себе смирно, рта не раскрывал, будто дремал, и – на вот, надумал!

А Пустых тем разом располоснул на груди рубаху и бил себя кулаком в тощую, маслами просаленную, всю зиму не мытую грудь.

И вопил, срываясь в голосе:

– Ммы!.. М-мещанину трафить?.. Ни-когда! Кто мы?.. Облик наш где? Эх, человеки-и!..

– Мы, Василь Палыч, крестьяне, – начал Карп, виновато мигая глазами. – Обзаведение наше, известно, при земле. А что касася выпить – праздничное дело, што ж! Где уж нам по книжкам...

Пустых даже зубами скрипнул. Весь перегнулся через стол, к Кире, глаза вылезли на лоб, голос разом охрип.

– Сволочи вы все!.. Слышь? Продажные твари, дьяволы! Тормоз Вестингауза вы... гири на ногах человеческих, вот! Понял?.. И еще скажу... головой, брат, не крути!.. Слушай, я докажу-у!..

Запинаясь за чьи-то ноги, он полез на моргающего Кирю, чтобы доказать.

Но ему помешали.

В зимницу шумно ввалился управляющий с пьяной оравой гостей. Кто-то из них бил в заслонку, кто-то подыгрывал на гармонии.

Гикали с присвистом, став в кружок. А в кружке том плясал конторщик Плашкин. Он взмахивал руками и смешно топтался, праздничный белый воротничок на его шее распрыгнулся и повис, болтаясь на одной пуговке через плечо.

– Ребята! – закричал управляющий, красный будто вареный рак, в распахнувшейся шубе. – Реб-бята!.. Полведра даю! Выкатывай еще раз сани! До смерти запою! Н-ну?!

Бороды перестали мести стол. Шатаясь, нестройно поднялись – и все смешалось в один топающий, ревущий клубок и пьяно двинулось из зимницы на волю.

Все ушли.

Остался один Василий Пустых.

В растерзанной рубахе, он долго стоял среди зимницы и горестно покачивал головой. Пол под ногами колебался, как палуба корабля в бушующем море.

На воле гремит заслон, хлипает гармонь, захлебывается песня – и все это куда-то удаляется, затихает.

Стихло.

Тогда Пустых качнулся туда-сюда, икнул, размашистым шагом подошел к столу и пнул его. Стол покатился.

Василий смахнул с лавки чайную посуду, сбил со стены ночник... Пошатываясь, высматривал, что бы еще сделать?

Взял в обе руки полено и не торопясь, деловито стал бить этим поленом по железной печной трубе. Смялась труба, на несколько частей рассыпалась, упала; у потолка на проволоках осталась лишь верхняя часть ее, но Пустых и ее сорвал. Хлестнулся на нары лицом вниз и пьяно завыл, повторяя:

– Мещанину трафить, мы... мы...

Александр Неверов

Гуманный...

Из книги «Заметки читателя»

Имя Александра Неверова практически неизвестно современному читателю, разве что название его повести «Ташкент – город хлебный» многим как будто припоминается смутно – слышали что-то такое. С появления ее в московском литературно-художественном альманахе «Вехи Октября» в 1923 году и по 1973 год она выдержала 44 издания, имела огромный успех в нашей стране и была переведена на многие языки мира. Вот уж воистину произведение, к которому трудно подойти с какими-нибудь политическими вопросами и даже, можно сказать, с нравственными оценками, поскольку с главного его героя Мишки, в отчаянии отправившегося в Ташкент за хлебом, не очень-то спросишь за некоторые его непохвалынные выходки, недобрые мысли, за всю более или менее ясно проглядывающую перспективу становления из него отнюдь не положительного и приятного во всех отношениях гражданина. В повести действует голод, поднявший народ с места и образовавший какое-то народное, эпическое, гомеровское шествие, некую безумную и неистовую борьбу за выживание. И тут-то оказывается, что словно только в этой обстановке лишенного всяких социальных, политических, нравственных черт движения, в этой дикой борьбе можно услышать не привычный для нашей литературы голос сомнений или страстного богоискательства, решения важных психологических ребусов или глубокого самоанализа, а самой жизни как она есть. Так оно и происходит, когда Мишка, умоляя машиниста взять его на ташкентский поезд, «встал на колени, протянул вперед руки и голосом отчаяния, голосом тоски и горя своего, мучительно закричал:

– Дяденька, товарищ, Христа ради посади, пропаду я здесь!..»

Неверовская повесть умерла, похоже, вместе с двадцатым веком. А ведь тоска и горе подают голос не только из-за голода, бывают и другие мучительные, мученические ситуации, когда жизнь точно так же кричит, словно не помня себя. Но мы либо живем уже чересчур благополучно, либо пережитые в этом самом двадцатом столетии несчастья притупили нашу восприимчивость.

Родился Александр Сергеевич Неверов (Скобелев) в 1886 году в селе Новиковки Самарской губернии, в крестьянской семье, а умер в 1923-м, завершая работу над интереснейшим романом «Гуси-лебеди». Его архив сохранил такую запись, сделанную за несколько дней до смерти: «Во мне сто страниц самых лучших, которые должны выразить то, что живет глубоко в тайниках... Они самые лучшие и самые трагические... Пусть их напишу, когда мне будет 72 года... Ведь душа не стареет, я в это верю, и я никогда не буду стариком. Не хочу и не могу». За недолгую жизнь ему довелось потрудиться земледельцем, «мальчиком при дверях» в купеческих магазинах, деревенским учителем. В 1915 году, призванный в армию, служил в Самарском военном лазарете. Его первыми литературными опытами заинтересовались не известные издания той поры – из них приходили отрицательные ответы, а журналы с довольно странными для нашего слуха названиями: «Трезвые всходы», «Жизнь для всех». Известные политические шатания и идейные срывы писателя, которые советская критика, в целом доброжелательно принимавшая творчество Неверова, призывала не преувеличивать, были вызваны его склонностью к эсерам, а говоря общо – к надклассовому демократизму, абстрактному гуманизму и прочим досадным для правоверных большевиков вещам. Встретив революцию с воодушевлением, он, однако, с сомнением воспринял после-

довавшие затем декреты и предприятия нарождающейся советской власти, чему особенно способствовала начавшаяся в его родной Самарской губернии травля «кулаков». Неверов полагал, что надо не «колоть» деревню, а «стаскивать всех крестьян в одно». Когда же в губернии на время воцарилась эсеровская «учредилровка» (1918), писатель в местной газете «Народ» восторженно писал о «чистой демократии» и «народоправстве». В 21-м начался в Поволжье страшный голод, и Неверов, ради спасения себя и семьи, оказался среди ходивших в «хлебный» Ташкент.

Его «предрассудки» вполне выразились в замечательной повести 1922 года «Андрон непутевый», написанной в сказовой манере. Ф. Гладков в своих воспоминаниях приводит такие высказывания Неверова: «Мужик – поэт и песенник. Он и плачет от сердца и веселится от души. Он ничего на веру не берет – скептик, но и бунтарь исторический. Язык у него богатый, певучий и мудрый. Говорит он и поет, как холсты расстилает...» А в повести «поэт, песенник и скептик» вилами и топорами изгоняет вернувшегося с войны с большевистскими лозунгами на устах Андрона. Очень уж он вместе с созданным им в деревне союзом молодежи надоел мужикам. «Компания Андропова – лучше не выдумать. Гришка Копчик с деревянной ногой – голь, Яшка Мазлаголь, Федька Бадыла – голь. Наплевать на это! Потому они и коммунистами называются – нет у них ничего. Вот как Мишка Потугин попал к этим людям? В молодой союз записался. А в союзе вечеринки каждый день. Парни и девки там». Мужикам же Андрон из своего исполкома слал приказы: «В бывшем доме священника немедленно оборудовать сцену для разного представления. Столяра Тихоня Белякова и плотника Кузьму Вахромеева мобилизовать без всякого уклонения. У Прохора Черемушкина взять на общую пользу восемь досок поделочного тесу».

Разочаровавшись в «учредилровке», а отчасти и в абстрактном гуманизме, писатель, живший в развалюхе на окраине Самары, голодавший и не имевший возможности обеспечить необходимым семью, произносит уже такие знаменательные слова: «Я... часто брюзжу, как обыватель, слюни развожу, но когда сажусь писать о коммунистах, я понимаю их, художник во мне побеждает обывателя...» Понимая или пытаясь понять коммунистов, он редактирует журналы «Красная Армия» и «Понизовье». В те годы было популярно «казнить» классическое наследство, и Неверов на утверждение, что подобное сбрасывание за борт современности и есть революция, отвечал: «Это вы оставьте... Октябрьская революция – воля масс, а тут массам навязывают чью-то другую волю. Как видите, разница... Нет, не следует нам чужие горшки бить...». Он на собраниях самарских литераторов читает доклады «Техника и психологический анализ Шекспира», «Композиция рассказов Чехова», «Технические приемы Бунина». И тут бы нам не только отметить его очередное противодействие духу времени, но и спросить: а где же теперь, после долгих лет народной диктатуры, у нас такие выходцы из крестьян, чтоб с толком и смыслом – о Шекспире, о Бунине?

Еще в перестроечные годы кое-что из творческого наследия Неверова попадало в печать, главным образом «Марья-большевичка» – веселый рассказ о крестьянке, которая «прямо сумасшедшая стала» с тех пор, как «появились большевики со свободой да начали бабам сусоли разводить, что вы, мол, теперь равного положения с мужиками». Кончилось опять мужицким утомлением: «Думали, не избавимся никак от такой головушки, да история маленькая случилась: нападение сделали казаки. Села Марья в телегу с большевиками, уехала. Куда – не могу сказать. Видели будто в другом селе, а можа, не она была – другая, похожая. Много теперь развелось их».

В заключение вернемся к повести «Ташкент – город хлебный». В предисловии к изданному «Советской Россией» в 1973 году сборнику произведений Неверова Н. И. Страхов, называя эту повесть высшим творческим достижением писателя, уверяет: «Давно канули в прошлое описанные в ней события, а книга живет. Народ принял и полюбил ее навсегда». Так ли?

Михаил Литов

В плену

1.

Емельян ездил в город, привез оттуда австрийца в работники. По-русски он говорил плохо, больше кивал головой... Посадил его Емельян на телегу, оглянулся назад, сказал:

– Ну, поехали.

И Артур оглянулся назад.

Позади оставался город, наполненный шумом, впереди расстилались поля, наполненные тишиной... Не понял Артур, что сказал хозяин, но своей дороги не было, ехал, куда повезут.

Вез Емельян в Алдаровку.

Дорогой говорил:

– Ты не бойся, у нас хорошо. По праздникам я не работаю.

Трудно было Артуру понять Емельянову речь. Молчал. А когда Емельян отворачивался в сторону, Артур рассматривал Емельяна. В городе не успел приглядеться к нему, думал о другом.

Емельян – старик.

Лицо утонуло в бороде. Глаза спрятаны в густо нависших бровях. Губ совсем не видать из-под усов.

Жары не чувствует.

На нем овчинная шапка с подпотевшей тульей, старый, на вате, пиджак, подпоясанный ремешком. На ногах валенки.словно сыч выглядывает из дупла, зорко глядит по сторонам.

Артур думает разное.

Емельян, поглядывая на Артура, тоже думает разное. Кто его знает? Человек он нерусский, чужой, ненадежный. Дорога степная, безлюдная. А в кармане у Емельяна деньги.

Ехали под вечер.

Лошади надоело тащить их вприпрыжку, останавливалась.

Емельян сердился, хлестал ее по боку. Кнут то и дело кружился над головой у Артура, Артур опасливо жался в сторонку. Емельяну казалось, что доверяться Артуру нельзя, в душе вырастало тревожное чувство. Откуда оно шло – не знал, но в каждой мочевишке, под каждым бугорком плотнее прижимался к сиденью, крепче дергал вожжами, гнал непосlušную лошадь.

Осмелел Емельян около Алдаровки.

Когда выглянули знакомые трубы на старых соломенных крышах, страх, который попусту тащил несколько верст, отошел и растаял.

Придерживая лошадь, сказал:

– Ну, вот и приехали. Видишь деревню? Наша это, Алдаровка. А там, полее, – Кирьяновка. Густо сидим, как грибы.

Понял Артур: дорога кончается, дальше этого не уедешь. Вытащил из-под ног засохшую соломинку, начал разжевывать, выплевывая по кусочку.

Емельян подумал:

«Есть хочет».

Опять сказал:

– Терпи немножко. Приедем домой, ужинать будем.

2.

У ворот стояли бабы с ребятишками и два старика, чем-то похожих на Емельяна. Один в шерстяных полосатых чулках сидел на завалинке, выгнув колени. Другой в липовых калошах стоял напротив. Из раскрытого окна выглядывала старушечья голова в черном платочке. В соседней избе плакал ребенок, улицей пылили овцы. Хлопал пастушечий кнут.

Смеркалось.

Емельян слез первым.

Дорогой пересидел ноги и теперь слегка прихрамывал. Артур задержался на телеге. Бабы с ребятишками подошли вплотную, обступили полукругом. Окруженный, он сидел как корабейник, торгующий кольцами.

Старики поглядывали издали.

Артур интересовал их со стороны крепости, словно новокупка, приведенная с базара; каждый старался назначить ей цену.

– Ничего, здоровый будто.

С улицы заторопились в избу.

Изба большая, с тремя окнами на дорогу. От набившихся баб с мужиками казалась маленькой, тесной, без воздуха. Лампа, спущенная над столом, горела тускло. Пахло керосинной копотью. Под потолком кружились потревоженные мухи. Из чулана выглянули и снова скрылись большие недоумевающие глаза, налитые жалостью. Справа и слева глядели другие глаза – светлые, темные, недоверяющие. В окно с улицы глянула чья-то голова с распутившимися волосами. И оттого, что не было видно туловища, спрятанного за стеной, большая растрепанная голова, ищущая Артура, казалась похожей на фокус: покажется – скроется. Скроется – опять покажется.

Иван Прокофьич в новом казинетовом пиджаке нараспашку сел рядом с Артуром на лавку. Подмигнул, похлопал его по плечу:

– Что, брат, попался?

Понял Артур, что с ним разговаривают; улыбаясь, кивнул головой.

Иван Прокофьич кричал под самое ухо, словно глухому:

– У нас хорошо, лучше, чем у вас!

Емельян сказал Ивану Прокофьичу:

– Больно-то не приставай, пускай оглядится.

Пришли еще мужики, молча уставились на Артура острыми ощупывающими глазами. Пробовал Артур отвернуться, спрятаться от пристальных глаз, но спрятаться было негде. Слева сидел Максим Иваныч, выставив ноги в полосатых чулках, справа – Иван Прокофьич в казинетовом пиджаке нараспашку, а напротив Евсей, перегородивший дорогу. Последней пришла бабка Ирина, проводившая трех сыновей на войну. Протискалась поближе к Артуру старуха, заплакала. Не знал Артур, что бабка похожа на могилу, где лежит не одно схороненное горе, и ему показалось, что плачет старуха над ним.

Сердце заныло.

Не умея говорить по-русски, начал говорить по-своему, чтобы показать людям свое, человеческое.

Люди не поняли, изба наполнилась смехом.

И Артур сначала не понял. А когда понял – смеются над ним, над ломаным его языком, даже улыбаться и кивать головой перестал. Иван Прокофьич похлопывал по плечу, спрашивал, сколько у них в Австрии земли на человека; Артур не отвечал.

3.

Легли поздно.

Долго думали, где положить Артура; решили положить на полу. Сам Емельян расположился на печке, чтобы удобнее было наблюдать за работником сверху. Ночью опять он сделался робким. Давешний страх, сброшенный на дороге, снова подошел вплотную.

Старшая сноха Марья с двумя ребятишками приткнулась в углу на кровати. Младшая – Евдоха – ушла в кладовушку. Емельян приказал ложиться в избе, она не послушалась. Емельян рассердился, расстроился. Ему хотелось немногого. Пусть бы чужой человек увидел, что старик в доме – сила, что ему повинуются со слова. Но этого не было, и это печалило. Обиженный, он долго пыхтел, возился, а когда засыпал, видел Артура, тихонько отворяющего дверь; вскакивая, просыпался.

Ночь была лунная, тихая.

Месяц подошел под самые окна, осторожно провел от передней стены светлую кривую дорожку. За стеной на дворе отдувалась корова, кашляли овцы.

В полусне разговаривали гуси. В улочке сонно гавкала собачонка, разрубая тишину. Дальше, на другом конце, доигрывала гармонь, роняя последние крики.

Артур не спал, подложив под голову согнутые руки, беспокойно сжимался в комок. Минутами садился, закрывая лицо, медленно качал головой. Прислушивался, щурил глаза на светлую кривую дорожку, положенную месяцем, неслышно уходил по ней мысленно.

Емельян следил сверху.

Когда Артур вышел из избы, вслед за ним вышел и Емельян.

Артур остановился под сараем. Емельян прижался в сенях. Ослаб он, внутренне раздвоился. Казалось ему, что под сараем в темноте Артур совершает ужасное дело, и это ужасное идет на него, Емельяна. Подойдет, раздавит.

Артур неуверенно тронул калитку. В голове у Емельяна помутилось. Наддалил кто-то в темноте его, вытолкнул из сеней. Выскочил на двор, судорожно вцепился Артуру в плечо, жаркодохнул в лицо.

– Куда?

Голос был резкий, не свой, оба испугались. Остановился Артур в полосе лунного света, заглянул Емельяну в лицо. Потом показал пальцем на грудь себе. Это значило, что у него болит сердце, что ему припомнилась родина, и он немножко расстроился.

Емельян думал свое и в охватившей тревоге не разглядел тоскующих глаз.

Уснул Артур ненадолго, спал некрепко.

Всю ночь около него кружил какой-то мужик в новом казинетовом пиджаке нараспашку, хлопал по плечу.

– Что, брат, попался?

4.

За завтраком Артур увидел всю семью.

Его посадили рядом с хозяином в переднем углу. Напротив сидела старшая сноха Марья. Ела молча, взглянула на Артура только раз.

Младшая Евдоха, краснощекая молодайка, держалась по-девичьи. Разлука с мужем мало отразилась на ней. Словно галка, повертывалась из стороны в сторону. В круглых косивших глазах наигрывал девичий задор.

Ел Артур неуверенно; торопился, отставал.

Емельян угощал по-праздничному:

– Ешь потолще, едой не разоришь.

Подкладывал хлеба.

– Много съешь – много сделаешь.

Сам он сидел по-хозяйски, распустив подмоченную бороду. Ложка у него большая, вроде половника, с двумя вырезанными крестиками на облупившемся черенке. В перерыве между едой постукивал ею по столу, вместо колокольчика, замахивался на Марьиного мальчишку, удивленно поглядывающего на Артура.

К столу подавала старуха, Емельянова жена. Она была моложе «самого», но видом постарше, послабее. Ходила согнувшись, голову держала опущенной, носила на старых подсохших губах теплую материнскую улыбку.

После завтрака вышли во двор.

Одну лошадь обратал Емельян, другую – Артур.

Когда впрягли лошадей в телеги, Емельян вынес лопаты, показал Артуру на кучу навоза в углу под сараем.

– Навоз возить будем, дело нехитрое, скоро поймешь.

Вышла Евдоха с вилами, встала напротив. Работала она по-мужичьи, отрывая вилами тяжелые пласты, смеялась над работником.

Навоз возили целый день.

Артур утомился, а вечером отказался от ужина.

Ужинали при огне. В избе было жарко. Все время плакал Марьин ребенок. По стенам ползали тараканы. Щи были горячие, над столом от них стояло маленькое облачко, закрывающее Емельяна в переднем углу. Слышно было только, как стучал он мослом по столу, шумно высасывая мозги, а глаз и лица не было видно.

Артур сидел в стороне, возле печки. Потом вышел на двор, присел на крылечко.

– Я умру здесь.

Сказал тихонько, испугался.

А голос внутри его ответил:

– Терпи. Вытерпишь, увидишь родину...

5.

По утрам вставали рано.

Первым просыпался Емельян. Наскоро ополаскивал лицо, приглаживал бороду. Молился наспех, по привычке, цельных молитв не было. Были отдельные клочья, обрывки, и обрывки эти путались в голове беспорядочно. Забываясь, Емельян оборачивался назад, глядел на кровать, где валялось старье, заслоняющее иконы. Не кончив молитвы, скакал под сарай. Оттуда перебрасывался на огород, с огорода – на улицу, кружился около лошадей и готов был схватиться сразу за несколько дел.

Артур спал на полу.

По утрам Емельян тянул его за ногу, осторожно подталкивал в бок. Артур просыпался, как заяц, почуявший выстрел. Одевался быстро. Пока хозяин стоял на молитве, раскуривал трубку.

Марья просыпалась сама.

По ночам ее мучил ребенок, и лицо у нее от бессонницы было зеленое, мятое. На постели по утрам она не стеснялась, сидела с раскрытой обсосанной грудью, с оголенными икрами ног.

Евдоха спала в кладовушке.

С вечера ложилась поздно, где-то бродила, чего-то искала, утром вставала насильно. Ее будил Емельян, постукивая кулаком в запертую дверь. Просыпалась она недовольная, раз-

драженная, в круглых косивших глазах светилась досада, в коротких словах, которые бросала Емельяну, чувствовался вызов.

Старуха шла серединой.

Характер у нее мягкий, неустойчивый, ссориться не любила. Когда ссорилась Евдоха с Марьиными ребятишками, как чужая в доме, отходила в сторону.

Артур стоял чужаком в этой жизни, словно дерево, пересаженное в чужой палисадник. Пробовал говорить – не понимали. Пробовал выбросить из себя давившую тяжесть – смеялись. Не сумел подойти к людям вплотную, стал замкнутым, одиноким. По вечерам, когда ложились другие, задерживался на дворе, выходил на огород, с огорода – на речку, бесцельно кружился на берегу.

В маленькой речушке расстроенным хором гудели лягушки, в улице подвывали собаки, плакали дети в месячной потревоженной тишине. Видел Артур темное, тупое, неговорящее лицо жизни, и это лицо убивало тоской. Смотрело оно на него и рано утром, когда просыпался на работу, и поздно ночью, когда засыпал на полу. Даже в поле, в маленьком тихом просторе, изрезанном косыми проселками, стояло перед ним тупое лицо.

Емельян беспокоился.

Не видя Артура в избе, осторожно выходил под сарай, по-кошачьи заглядывал в углы, пересчитывал лошадей в полутьме, прислушивался. Со двора пробирался на огород, спускался на речку, долго стоял на берегу. Страх наваливался, как камень, пущенный сверху. Придавленный страхом, он гнулся, слабел, не было силы двинуться с места. Тревожно окрикивал:

– Артур! Пан!

Артура раздражали подкарауливающие шаги. Вспыхивало враждебное к маленькому мохнатому старику, от возбуждения вздрагивали руки. Хотелось заупрямиться, не послушаться, зло посмеяться над силой, ведущей к подчинению. Что из этого выйдет? От сознания, что выйдет большое, непоправимое, глаза светились ярче, тонкие губы сжимались плотнее.

Это были минуты ненужного гнева.

После не верилось: были они или не были.

Успокоенный Емельян говорил:

– Чем тебе плохо? Работаем в меру, пьем-едим досыта. Товарищам хуже.

Артур видел другое лицо, слышал другой голос, в котором дрожали теплые растроганные ноты. Прикладывая руку к сердцу, кивал головой.

Хотелось ему подойти к людям проще, по-человечески, разгородить фальшивую ненужную перегородку, вынуть из сердца свое, человеческое, – что-то удерживало, мешало. Прислушиваясь к другим, бережно хранил отдельные звуки чужих разговоров, старался усвоить язык, но язык был небогатый, и тот немногий обиход, который заучил Артур, не в состоянии был выразить того, что чувствовал.

6.

Бабы в субботу вытопили баню.

Емельян три раза залезал на полок, сердито хлестал себя веником. Мыться с ним мог не каждый. В бане стоял невыносимый жар, трудно было дышать даже на полу. Артур с удивлением поглядывал на гогочущего сверху Емельяна. Сам он сидел в уголку около кадушки.

Емельян и его затащил на полок, подталкивая снизу.

– Ничего, ничего, давно не парился.

Артур согласился, но веником не умел работать. Парил сам Емельян. Артур порывался соскочить на пол.

Казалось ему, что он не вытерпит, задохнется в обжигающей духоте, но прыгающий веник в руке у Емельяна и сам Емельян, возбужденно танцующий на приступке, заставляли лежать до конца.

Только уж после понял Артур, что с ним проделывали это мученье к лучшему. Вшивое пропаренное тело почувствовало себя легко и свободно. Долго отыскивал грязное немытое белье в предбаннике, – белья грязного не было. На том месте, где было положено, лежало другое: новые полосатые штаны и ситцевая рубаша с вышитым воротом.

Тайная забота баб растрогала.

Домой вернулся непохожим на прежнего, – немного смешной и забавный в новом наряде. Вместо незнакомого пугающего австрийца стоял теперь свой, одинаковый, в одинаковых штанах и рубаше. Было легче смотреть на такого, чувствовалась радость и в том, что все это вышло так просто, легко и радостно.

Дома на Артура надели еще пиджак, оставшийся от Марьиного мужа – солдата, старую фуражку с разорванным козырьком, на ноги – сапоги. Заставили пройти по избе.

Артур прошел.

Оттого ли, что было забавно смотреть на него, сделавшегося вдруг непохожим на прежнего, или оттого, что плотно сидела поношенная фуражка с разорванным козырьком, – на душе у всех появилось хорошее, теплое чувство, брызжущее смехом. Темные лица разгладились. Позывало на шутку. Даже Марья, не поднимающая глаз, улыбнулась. Старуха гремела трубой, налаживала самовар. Добрые старушечьи глаза, выглядывающие из чулана, казались еще добрее.

Евдоха дурачилась, дергала Артура за рукава.

– Хороший какой!

Емельян покрикивал на Евдоху:

– Брось, брось!

Но все это было между прочим, старик не сердился.

Вечер прошел в разговорах.

Кто-то новый, умиротворяющий вошел в Емельянову избу, объединил, успокоил людей, идущих по разным дорогам. За чаем Артур сидел рядом с хозяином. Глядя на них, казалось, что два мужика – как два дерева, выросших в разное время. Они уже не были чужими, пугающими, между ними чувствовалась внутренняя близость.

Емельян подкладывал хлеба.

– Закусывай, не стесняйся.

Старуха сварила яиц – по два каждому. Это тоже указывало, что Артур свой человек, имеющий право на равную долю.

Вылез Емельян из-за стола добрым, снисходительным. Следом за ним вылез и Артур. Заглянул Иван Прокофьич в казинетовый пиджак, смастерил себе «ножку». Артур закурил трубку. Первый дымок выпустил молча, за вторым потекли разговоры.

Говорили про войну, про ярмарку, про цены на хлеб.

Артур сидел взволнованный.

Понимал он не все, что говорили другие, но чувствовал, что его не сторонятся, смотрят как на своего, близкого человека, страдающего одним горем, и его печаль есть печаль и этих мужиков.

Легли не по-летнему поздно.

Что-то мешало уснуть, что-то тревожило невысказанное.

Пропели первые петухи после полуночи.

Артур тихонько вышел из избы, постоял у сеней. Чуткая переливающаяся тишина чуть слышно звенела колокольчиком, разговаривала слабыми шорохами. Глубокое звездное небо

глядело спокойно и кротко. Усталая, измученная душа наливалась такой же тишиной и кротостью.

Стоя около сеней со скрещенными на груди руками, Артур в первый раз пересмотрел всю свою жизнь от начала до конца, мысленно прошел короткий утомительный путь, приведший в маленькую степную деревню.

Ах, война!

Было обидно и грустно.

А когда в избе заплакал Марьин ребенок – нервы не выдержали. Представил Артур своего ребенка, жену, комнату, в которой остались два человека, ожидающие писем, – из глаз выпала первая за все время слезинка.

Долго не спал и Емельян в эту ночь.

Тоже пересмотрел жизнь свою от начала до конца.

Дошел до Артура, подумал:

– Жалеть надо. Мы пожалеем, и она пожалеет нас.

Все еще боялся Емельян, все еще не доверял, ожидая Артуровых проделок, хотел покорить жалостью. Злое обособленное чувство, что Артур чужой человек, которого не стоит жалеть, заменялось другим. В минуты, когда не было подозрения, обжигающего мозг, говорил Артуру, заглядывая в лицо:

– Нам с тобой делить нечего. Будем жить дружнее, лучше будет. Ты хорошо сделаешь, и я хорошо сделаю. Чего нам делить?

Артур кивал головой.

7.

Околел гнедой мерин и смертью своей поставил Емельяна в тупик.

Лошадь была здоровая, крепкая, не жаловалась, не валялась, пала, как дерево, враз. С вечера Емельян разговаривал с ней на дворе, утром нашел мертвой. Лежала она около плетня, вытянув ноги, окоченевшая, с оскаленной мордой.

Емельян не поверил, испуганно пнул ее в бок.

Лошадь не двинулась.

Забежал с другой стороны Емельян, приподнял голову.

Неподвижная голова была тяжелая.

Емельян тоже сделался страшно тяжелым, почувствовал, что под ногами у него не земля, а жидкое тесто, в которое лезет, точно в трясину.

Прижался к плетню.

Из сеней вышел Артур, неся с собой доброе чувство. Не понял, в чем дело. Увидя лошадиную голову с оскаленной мордой и голову хозяина, упавшую на грудь, – нахмурился. Бодрое хорошее чувство сменилось щемящим. Взглянул на хозяина.

Хозяина не было.

У плетня стоял маленький, мохнатый старик в длинной рубахе, безмолвно смотрел себе под ноги.

Артур подошел поближе, хотел что-то сказать, пожалеть человека в несчастье. Емельян приподнял голову. В маленьких незрячих глазах столько было злого, выпирающего изнутри, что Артур даже попятился, чуточку покраснел. Он стоял по одну сторону, Емельян – по другую. Между ними лежала околевавшая лошадь, и, отделенные ею, они стояли, как на двух берегах, идущие в разные стороны.

Емельян не мог говорить, косил красным вертящимся глазом то на Артура, стоявшего справа, то на околевавшую лошадь с откинутой в сторону левой ногой.

Первой из женщин выбежала старуха в черном платочке. Вслед за ней – Марья в расстегнутой кофте, Марьин мальчишка в больших сапогах и не чувствовавшая горя Евдоха в подоткнутой юбке. Встала она не там, где встали другие, а несколько на отлете. На околевшую лошадь глядела безучастно.

Увидел Емельян эту отчужденность и понял, что Евдоха чужая в доме. Озлобленные, сухо горевшие глаза остановились на ней. Евдоха встретилась спокойно с ними, небрежно, и мучила этой небрежностью до тех пор, пока Емельян не начал ругаться.

Тут Евдоха сказала ему:

– Не ругайся, я ведь не дочка тебе.

Знал Емельян, что Евдоха не дочка ему, но думал о другом.

Возбуждение ослепило его. Не было уже ни лошади, ни жены, ни Артура, ни всей этой жизни, хохочущей тысячью ртов. Было одно лицо, выглядывающее из тумана, и оно хохотало за всех. То была Евдоха, бросившая последний камень. Стояла она все там же, где встала вначале, но Емельяну казалось, что она далеко-далеко от него. Он подвигался с трудом к ней, тяжело ворочая грудью, а когда подошел и хотел что-то сделать, чтобы рассеять сизый туман, перед ним стояла не Евдоха, а плачущая старуха в черном платочке, держала его за руку. Другую, сжатую в кулак, держала Марья.

Емельян ослаб.

Две лошади, потерявшие третью, стояли поодаль, около ворот толпились овцы, коровы.

К завтраку Евдоха не вернулась. Место ее за столом оставалось пустым, напоминало об утреннем. Притихший Артур в ситцевой рубашке сидел неподвижно.

Подаренная рубаха давила камнем.

Емельян не угощал, не подкладывал хлеба, как раньше, не стучал и мослом по столу. А когда мальчишка Марьин выронил ложку, Емельян ударил его по голове. Мальчишка заплакал. Марья смолчала, как будто не видела, но от еды отказалась, ушла на кровать.

Глаза у старухи стали темнее, печальнее. Губы втянулись.

Вылез и Артур.

Емельян один остался за столом. Тусклые глаза опять загорелись враждебно. Брякнул кулаком по столу:

– Что вы хотите?

8.

Жить стало трудно.

В глазах у Емельяна неизменно горел сухой огонек, нащупывающий в темноте. Он почти не разговаривал с Артуром, как будто не замечал человека, шагающего рядом. Стоило Артуру где-нибудь уединиться, на минуточку спрятаться от преследующих глаз, Емельян тревожно бегал по углам.

Спал мало.

Сон был некрепкий. В расстроенной голове путались расстроенные мысли. Вскикивал, отыскивал глазами Артура, по-кошачьи пробирался на двор.

Артур не сердился на старика.

Он перегорел, утомился, и не было в нем ни горечи, ни раздражения. Темная, незрячая жизнь, в которой кружился чужим и непонятным, не давала ни свету, ни радости. Вместе с ласковой жалостью бабьих глаз видел и острую щетину в напуганных глазах Емельяна. Умирал он медленно, равнодушно. Лишь редко-редко вспыхивало протестующее чувство, но вспыхивало не надолго, как искры, отлетевшие от костра, возбуждение было короткое. А

когда увидел на ладони у себя капельку крови, зловеще окрасившую желтую, нездоровую харкотину, сделался особенно тихим, печально сказал:

– Ну, вот и конец.

Написал письмо.

Первое письмо, как поселился в Алдаровке. Готовился к нему долго, долго вынашивал запрятанные мысли. Пока готовился, думал высказать много, а на бумаге вышло несколько строк. Прочел их: не поверилось, что сам написал. Не хотелось жаловаться, не хотелось и роптать, чтобы уйти из этой жизни спокойно, но в каждой строчке слышались обида и слезы, тоска и отчаяние...

Поглядел на написанное, что-то припомнил, нерешительно разорвал. Разорванные лоскутки выбросил на ветер, и они, подхваченные ветром, разлетелись как падающие сверху снежинки.

9.

В пятницу выехали в поле.

Работали молча.

Артур ходил за плугом, Емельян по-хозяйски стоял на межнике. Забирался под телегу, чтобы вздремнуть от безделья, но тут же высовывал голову, украдкой смотрел на Артура, шагающего за лошадьми.

Стояла духота.

Безоблачное небо казалось высоким, прозрачным; примолкшее поле – широким, пустынным.

В полдень лошади утомились. Емельян приказал отпрягать на отдых. Закусывали в одно время: лошади в телеге, хозяин с работником под телегой. Емельян с ножом в руке резал хлеб, вынутый из кошель. Один кусок положил перед собой, другой – перед Артуром.

Артур не дотрагивался до хлеба. Выпил квасу, пахнувшего тряпицей, отодвинулся в сторону.

Емельян покосился. Ел один, усиленно ворочая щеками, чувствовал себя обиженным. Когда Артур вылез из-под телеги, Емельян вспыхнул. В сердце закурилось нехорошее чувство, делающее человека сухим и колючим.

Артур подошел к лошадям, одну погладил по спине.

Емельян из-под телеги наблюдал. Тревожило неясное.

Рядом лежала Артурова кепка с полинявшим значком повыше козырька. Взял в руки ее, будто никогда не видел, пощупал, повертел, даже обнюхал и брезгливо, со злостью отшвырнул в сторону. Вспомнились дети – два сына, ушедшие на войну. Представилась самая война – огромное поле, уставленное пушками с разинутыми ртами. Представились австрийские солдаты, расстреливающие русских солдат, – сердце ударило вперебой. Злое, враждебное чувство разгорелось сильнее. Глаза под нависшими бровями сделались меньше. Были позывы на кого-нибудь налететь, сделать кому-нибудь вызов. Но кого вызывать кроме Артура? В нем сошлась вся путаница расстроенной жизни. Он на каждом шагу причинял и боль своей неразгаданностью. Только к нему, чередуясь, неизменно стекались Емельяновы мысли, только он, оторванный от своих, стоял перед глазами, вызывая то жалость, то злобу...

Артур схоронился в полынные на чужой десятина. Осторожно вытащил маленькую тростяную дудочку, которую смастерил в праздничный отдых, несколько минут просидел молча, со слабой ребячьей улыбкой. Тоненькая, незатейливая дудка стыдила своей простотой. Боялся Артур, что слабый самодельный инструмент не сумеет передать невысказанное словами. Вылетели первые звуки, слабо поднялись вверх. Артур в волнении прижал дудку к груди. Невольник и чужестранец, прикованный силой к чужим далеким полям, сидел он,

словно заяц, укрытый полынным, позабыл про хозяина. Увлеченный игрою, изливал свою скорбь. Тростяная дудочка, в которую вложил свое сердце, пела так грустно, так жалобно. Столько было простоты и горького человеческого чувства, близкого другому человеческому сердцу! Заслышал Емельян невидимую дудку, вздохнул. Жалобное волнующее пение казалось не пением, не игрой, не забавой, а душевной, покоряющей болью... В голове рождались другие мысли, в сердце – другие чувства. Просились свои скорби, свои жалобы на человеческую несправедливость, разорвавшую жизнь пополам; хотелось добавить свое, выраженное, неповинуящимся языком.

Артур сидел, низко опустив голову.

Сзади за спиной стоял Емельян, не нарушая игры.

Уже не было страшно пугающего австрийца, отнимающего сон по ночам. Сидел одинокий человек, измученный жизнью.

Увидел Артур хозяина – дудка смолкла.

Емельян тихонько сказал:

– Вот ты какой!

Артур показал на грудь себе.

– Болит.

Емельян покачал головой.

– Плохо, брат, я вижу. Я тоже никуда не гожусь.

Начал рассказывать про сыновей, ушедших на войну, про старую разлаженную жизнь. Маленькие, затосковавшие глаза обволоклись слезами.

– В больницу нам с тобой надо, к доктору.

Оба молчали.

Веселые ребята

Литератору деду Гольдебаеву², с любовью

1.

У деда болят ноги. Лежит под великолепным тулупом на волчьем меху, легонько вздыхает. В комнате полутемно. Дует ветер. Мороз стучает лбом в деревянные стены. Дрова на исходе. Рядом – Шекспир в роскошном переплете. Крепко держится за любимого из любимых.

– С голоду буду сдыхать, а его не продам.

Очень уж брюхо мучает. Бросит дед ему корочку за день, закроет глаза и лежит с мягкими посеребренными волосами. Из рта плывет теплый дымок. Дед оттопыривает губы, фукает, как маленький:

– Ф-ф!

В солнечные дни легче. По стенам бегают зайчики, лезут в бороду, греют высокий умный лоб. Над окном, под крышей, длинная февральская сосулька.

– Ишь, какая дура! – улыбается дед.

Хочется и ему на улицу. Пройти бы по городу, похрустеть снежком, выставив нос из воротника, наглядеться, послушаться – сапог нет. Тридцать лет писал повести с рассказами, а сапог не заработал. Сидит у окошка и щурится.

– Ничего, только бы душу сохранить...

Фырчит автомобиль с товарищем комиссаром, извозчики на углу хлопают рукавицами. Кавалерист-красноармеец в малиновой фуражке бодрит голодного коня. Идут на субботник. Кирки, лопаты, песни, улыбки. Молодость! Впереди – красное знамя с золотыми кистями, позади – розвальни с мертвым на кладбище. Плачет женщина, не поднимая головы. Ползет инвалид на железных крючках.

Дед отворачивается.

– Голод...

Аленка, дочь, с черными смородинками глаз, укачивает куклу на коленях.

– Спи, кума, спи. Волк придет...

Смотрит дед на Аленкины смородинки и не чувствует, как на бороду ему падает крупная тяжелая слеза.

– Ты что, папа?

– Так, ничего. Зима на улице.

– А знаешь, папа, чего мне хочется?

– Конечно, знаю.

– Да нет, папа, не этого! Ты думаешь – молока?

– Ну?

– На пароходе мне хочется проехать. Да-ле-ко-о!

² О писателе А. К. Гольдебаеве (Семенове), жившем в голодные 20-е года прошлого века в Самаре, Александр Неверов немало заботился, и вполне вероятно, что в Бегунке он изобразил самого себя. Впервые напечатанный в самарской газете «Коммуна» 1 января 1922 года, рассказ имел такой эпиграф: Нет, мы не отжили! Мы властны день любой Чертою белою отметить. А. А. Фет

– Ну, что же, прокатимся... В Черное море, в Мраморное море, в Каспийское море, потом ударимся в Атлантический океан, рыбу будем ловить: рыба там очень большая – с нашу кровать...

Слушает Аленка рассказы на коленях у деда, от сладости закрывает глаза. Любовно теребнет волосок из серебряной бороды.

– Я не сплю, папа, рассказывай. Вот настолечко не сплю...

Вечером приходит Бегунок, молодой беллетрист. Шапка на затылке, пальто нараспашку. Зима, а Бегунок бегает по городу, как в мае месяце. Только ботинки стучат молотками. Тоже брюхо гоняет. С утра собирает репортерские строчки по профсоюзам, изучает психологию большевиков для начатой повести, а после четырех скачет на Соловьиную к деду.

Отощал дед. Синие брюки широки в опушке, кажутся не своими. Рубашка треснула, длинный английский пиджак остался без пуговиц, а глаза горят хорошим молодым огоньком.

– Друг пришел.

Топится железная печка, стреляют поленья. На столе – керосиновый «наперсток». Дед сам придумал дешевое электричество. Разыскал стеклянную баночку, надел жестяной колпачок, вставил ваточные фитили.

– Молния, а не лампа!

Аленка – как белка: прыгнет на колени к деду, от деда – на шею к Бегунку. Делает козлиные рога из двух пальцев – запиряет! В окна косо светит месяц. Ходит Мороз – красный нос, колотушкой постукивает.

– Кому жарко? Кому нет?

Бегунок рассказывает сказку Аленке. Жил-был богатый мужик. Напекла ему старуха полпуда пирогов, говорит: «Не ешь все – бедным оставь». А старик жадный был. Взял да и съел все пироги один. Съел и захворал.

– Умер? – спрашивает Аленка.

– Маленько не дошло до этого: старуха стыдить начала. Вот какой ты безбожник, старик! Разве можно одному пироги есть? Надо было девчонок накормить.

– Каких?

– Да мало ли! У сапожника – две, у слесаря – две...

– Я тоже не ела... – вздыхает Аленка.

– Стыдно стало старику. Велел старухе испечь еще двадцать фунтов для голодных девчонок. А я в это время мимо шел. Вижу – пироги раздают, кричу: «Дайте мне! Дайте мне! Аленушке я отнесу... Девчонка у нас эдакая есть, черноглазая».

Бегунок вынимает маленький кусочек. Глаза у Аленки горят радостью и удивлением.

– Во-от... Папа!

Дед поглаживает бороду:

– А мне старик не прислал?

– Завтра обещался.

– Папа, я дам тебе немножко...

Аленка отрывает крошку от мякиша, кладет деду в оттопыренные губы. Дед любовно обсасывает Аленкины пальцы, крепко целует в черные играющие смородины.

– Спасибо, дочка, наелся...

– Да нет, папа, ты не наелся...

– Что ты, дочка, по сих пор наелся...

Хорошо с друзьями да в теплой натопленной комнате. Дед становится молодым. Весело двигает больными ногами в опорках, рассказывает о Питере, о Париже, где смолodu кружился, о писательских вечеринках. Бегунок смотрит восторженными глазами.

– Какой интересный, старый черт!

– Только бы до весны дожить, – увлекается дед. – Солнышко я очень люблю. Смерть мне зимой – коченею...

– Вы тоже повесть пишете?

– А как же? Целый роман...

В комнате празднично. Ветер воет, лепит снегом в побелевшие окна, а дед с Бегунком – на берегу Черного моря. Мечтают. Скромная писательская дача, горы, балкон, далекий белый парус. Оба заканчивают по большой повести. По вечерам собираются на балконе. Аленка хозяйничает за самоваром. Коммуна. Нет ни жадности, ни корысти, ни тяжелых забот, омрачающих душу. В полдень расходятся. Бегунок кидает прибрежные галечки в море, мечтательно смотрит в широкий простор. Дед блаженствует. Ходит по берегу в синих заштопанных брюках, точно фазан – вперевалячку, ласково подставляет голову под горячее крымское солнце. Хорошо! Книгу бы написать такую – солнечную. Налить ее радостью до краев и сказать всему человечеству:

– Пей, жаждущее!

Глаза у Бегунка туманятся. Молодое сердце стучит взволнованно. Обнять хочется деда. Очень уж интересный, старый черт! Как вином поит. Слушаешь, а за спиной крылья...

– Дед, ведь это возможно?

– Что?

– Книгу такую написать...

– Очень даже возможно. Унывать только не надо... За золотом гнаться не стоит: душу оно высасывает. А писателю нужна душа. Без души он – орех пустой, погремушка... Вы знаете, кем должен быть писатель?

Дед стоит возбужденный, горячий, борода – на боку. Бегунок улыбается: сюжет интересный нашел, торопливо обдумывает форму. Рассказ? Нет. Драма? А, черт! Повесть... Шарит по карманам.

– Дед, табачку у вас не завалилось?

– Или курнуть захотел?

– Во рту нехорошо.

– Есть хочется?

– Да нет, будто не хочется...

Оба смеются.

2.

Далеко весна. Далеко Черное море. Ходит Мороз – красный нос, колотушкой постукивает.

– Кому жарко? Кому нет?

Бегунок стреляет по базару. В одной руке книжки со своими рассказами, в другой – писательская шляпа с дедовой головы. Спекулянт. Голос звонкий, всех торговков покрывает.

– Кому хорошую шляпу? Эй, шляпу! Книжки, книжки!.. Интересные книжки...

– Пирожков, пирожков! Кому горячих пирожков?

– Книжки, книжки! Кому надо книжки?

Пляшет от холода, шуточками перекидывается, шляпой помахивает.

– Шляпу, шляпу! Эй, шляпу! Дешево отдам...

– Табачку, табачку! Моршанского табачку! Курнешь, чихнешь, языком оближешься...

Пробуй, товарищ, не стесняйся! Российский табачок, первый сорт...

Сидит Бегунок на корточках перед табачником, вертит застывшими пальцами пробу. Жадно глотает махорочный дым. Накурился. Бочком-бочком, да и в сторону...

– Что же вы, товарищ?

- Горчит немножко.
- Сам ты горчишь.
- Жареного мяса! Жареного мяса!
- Фу, какой запах!
- Эй, шляпу! Кому шляпу?
- Черт возьми, ноги отморозишь...
- Книжки, книжки! Интересные книжки!
- Придется назад нести свою лавочку. Разве в карман залезть вон к этому?..
- Шляпу, шляпу! Кому хорошую шляпу? Товарищ, купите книжечку!
- Нет, товарищ, не до книжек теперь. Может быть, через них и страдаем третий год.

А деду все хуже да хуже. С голоду, что ли, болезни наваливаются? В прошлом году палец срубил, вчера открылась ранка. Сердце отказывается работать. Капут старику. Лечит его Аленка, молодая докторица.

- Что у вас болит?

Дед закрывает глаза.

- Папа, да ты говори.
- Сердце болит, товарищ доктор.
- А еще?
- Палец болит.

- Я вам хины дам.

- Пожалуйста, товарищ доктор.

- А еще я вам капель дам. Они очень помогают от разных болезней.

Лицо у Аленки серьезное, черные глаза опечалены. Наливает воды из чайника.

- Выпейте натошак.

Дед смеется.

- А ноги у вас не болят?
- Болят, Аленушка, все болит...
- Папа, да я же теперь не Аленушка. Неужели ты забыл?
- Виноват, товарищ доктор, забыл.

– Фу, какой вы беспамятный, товарищ Семенов! Ну, лежи, папа, не смейся. Ухаживать за вами будет сестра милосердия. Катя!

Аленка берет румяную куклу с кудрявыми волосами.

– Вот, Катя, сегодня вы дежурите. Если товарищу Семенову будет хуже, позовите меня. Я пойду обед готовить. Товарищ Семенов, сегодня вы получите куриный суп. А на второе... м-м-м... Папа, я забыла, чего на второе?

- Молочка стаканчик.

Аленка как молодая березка около старого дерева. Ласково смотрит в глаза.

– Жалко мне тебя, папа. Все ты хвораешь... И я маленькая, не умею ничего... Ты не веришь, папа?

- Верю, дочка, верю!

– А, все равно, я не брошу тебя, папа. И большая вырасту – не брошу. Знаешь, куда увезу?

Тихонько шепчет в ухо:

- На Черное море.

Блестят глаза у деда от непрошенных слез – улыбается.

- Ты не веришь, папа?
- Да верю, дочка, верю...

Бегунок приходит расстроенный. Грозно стучит промерзлыми ботинками, с сердцем кидает товар непроданный. Дед беззлобно играет улыбкой.

– Ну, как торговлишка?

– Ничего не дают.

– Гм... Мошенники!

– Ненавижу я брюхо!

– Противная штука!

– Оно ведь гоняет...

– Ну да – оно. Я бы его с удовольствием вырезал – доктора не берутся. Очень, говорят, операция опасная: останешься с одной головой – пропадешь.

Не хочется старику огорчать милого друга, разводит турусы. Да и на что это похоже? Хлеба нет, дров нет. Неужели и последнюю отраду прогнать?

– Не тужи, разлюбезный друг, – перемелется. В будущем человечество обязательно уничтожит желудок.

– Обидно, дед.

– Ну, что там – обидно. Конечно, обидно! Дело не в этом. Потерпеть надо. Не мы одни голодуем – время такое пришло... Неужели на каравай хлеба будем менять революцию? Голубчик мой! Ждали-ждали, да и сменяем? Разве можно так убивать себя? Я вот старик, колода ненужная, и то веселее гляжу. Или мы сроду не знали нужды? Знали, ох как знали! Не баловали нас пирогами с начинкой. Бывало, напишешь рассказишко, пообедаешь, а ужинать в люди бежишь. Придет время, поживем и мы. Эка важность – денек не поесть! Чай, мы не из верхних этажей... Нас этим не удивишь – голодухой-то... Возьмем да и сварим сейчас картошки в мундире, нам ведь не мясо нужно... Аленка, ну-ка!

Дед засучает рукава, храбрится, трясет бородой.

– Мы и нужду в печке сожжем. У нас недолго...

– Папа, она разве горит?

– Загорится, как посадим на горячие угли. Дай-ка мне ножик!

Щепают лучину, побряхтывает, шуточками нужду прогоняет.

– А-а, не хочешь в печку лезть? Врешь, полезешь. А ты что, голубушка, загораться не хочешь? Чик! Потухла. Ага!.. Язык высунула... Двух спичек нет. Еще осталось две. Богачи! Да я умирать буду – не променяю революцию на пироги с лепешками. Ноги вытяну, а все-таки крикну: «Крепись, ребятки!» Аленка, лезь под кровать за картошкой! Сделаем масленицу сегодня, а там что будет...

Хмурится Бегунок. Рассмеяться бы над дедовой храбростью, да на сердце скоблит в одном уголке. Дед притворяется, будто не видит, что друг не в духах. Петухом около печки кружится. Соринки и пылинки кидает в огонь: тепло загоняет.

– Эх, и заживем мы на будущий год!

А за спиной Аленка тянет тоненьким голосом:

– Па-а-па, картошки-то у нас не-ет!

– Как нет? Агитируешь?

– А мы ее вчера съе-ели...

Глаза у деда туманятся.

– Ну, ребята, никому не рассказывайте: картошку мы съели вчера.

3.

Подобрал Мороз – красный нос свои колотушки, ударил в последний раз и ушел из города неизвестно куда. Заплакали вслед ему крыши, полились апрельские слезы. Разыгрались ручейки по канавкам, замертво попадали сосульки, сраженные солнечными копьями.

Весна.

Не верится деду. Сидит на крылечке под солнышком, греется. Жарко. Распахнул полы у великолепного тулупа на волчьем меху, воротник отогнул. Давит тулуп, словно жернов висит на плечах. Так и хочется сбросить тяжелый зимний мешок. К чему он теперь? А мимо – татарин-старьевщик. Угадал дедовы мысли.

– Нет ли сыва продавать?

Недолго думает дед. Раз с татаринком по рукам – и сидит на крылечке в одном пиджаке. Осиротел. Не то хмурится, не то улыбается. Начал было деньги пересчитывать – бросил. Ну их к черту! Дурак человек, ничего не придумал, кроме денежной радости. Увидала Аленка бумажное море, – руками всплеснула.

– Па-па! Где это ты?

– Старик прислал.

– Да нет, папа, не он.

Ухмыляется дед. Гложет на сердце, жалко тулуп. Придет Мороз – красный нос, – не отвяжешься... А солнышко в окно утешает.

– Не бойся, старик, не заморожу!

Бегунок прибегает взволнованный. Выхватил десятитысячную из кармана – хлоп на стол! Удивить хочет.

– Дед! Радуйся...

А как увидел дедовы капиталы на столе – язык высунул от удивления.

– Черт возьми, дед! Я, наверное, сплю...

Весело деду. Заложил руки в карманы, брюхо по-купечески выставил наперед, озорничает.

– С нами, брат, не шути!

– Где это вы столько?

– Тулуп заколол.

– А я подстрочник получил.

– Значит, живем?..

– Живем...

Льется радость – не удержишь! Ударить в колокола – настоящая пасха. Шутка ли, денег-то сколько!.. А впереди – еще больше. Богачи! Тацит Бегунок два фунта лучшей баранины, картошек, перцу, луку, лаврового листу. Вьюном вертится, налаживает чайник. Кутить – так кутить. Аленка на корточках смотрит в железную печку, губы языком вытирает. Колесом ходят запущенные картошки! Перец с луком в нос лезут, лавровый лист запах пускает. Вот так обед. Королевский! Дед с ложкой – как часовой с ружьем. Вокруг печки похаживает, носом потягивает. Сунет ложку в чугунок, попробует:

– Хорош!

Гостей бы созвать теперь, да вечеринку устроить, да милыми разговорами душу насытить. Давно не ел горячего Бегунок – обжигается. Пот выступил на лбу, раздумялся. А наевшись, голову на стул запрокинул, ногу на ногу положил, махорочку сладко потягивает. Буржуй! Дед – настоящий король. Наелся супу – капризничает: сахару требует к чаю. Кутить – так кутить! Что деньги? Мусор! Не было – пришли, не будет – опять придут. Аленке хочется молочка стаканчик. Увивается около деда, смородинками играет. Ну, как не купить?

– Поберечься бы, дед!

– После побережемся.

Ох, нужда, нужда! Дальше беги от этих людей – отчаянные! Особенно старичишка в опорках. На улицу не в чем выйти, а он философствует:

– Вещи – черви. Смолоду до могилы душу сосут. Самая лучшая завязь от них погибает. Ремесленником из-за них делается писатель, бакалейным торговцем. К черту богатство! Да здравствует писатель-бродяга!

Бегунок расцветает улыбкой. Пьет чай с молоком, сахаром во рту сластит. В кармане – кисет табаку. Вот вы всегда так. Пускай другие с миллионами путаются, душу бумажками обкладывают. Этого Бегунку не надо. Разве только брючишки переменить? Да нет, и без них обойдется пока. Главное – литература. Можно ли променять сладкую тоску писательскую на золото и серебро? Да будь они прокляты!

Деду тоже немного надо. Роман бы закончить скорее, скорби душевные вылить.

– Теперь обязательно закончим! – успокаивает Бегунок. – Я тоже задумал роман. Купим муки немного, пшена, масла. По вечерам будем лепешки печь.

– Разве выгодно?

– Еще бы! Дров меньше, хлопот меньше. Прихожу я в четыре часа, засучаю рукава. Раз! Лепешка. Раз! Еще одна. Вам лепешку, мне лепешку, Аленушке – две. Лепешки надоедят – за блины ухватимся для разнообразия. Много есть не будем. Заморим червячка – поработаем. Поработаем – опять заморим.

Дед улыбается.

– Остановись, паренек, очень уж хорошо выходит у тебя.

– Еще лучше выйдет, дед.

– Да что ты?

– Я теперь ничего не боюсь. Ботинки изорвутся – босиком похожу.

Мечтают. Радуют друг друга хорошими разговорами, а в комнате у порога – товарищ с широким мандатом.

– Это комната номер четыре?

– Да.

– Очень приятно.

С нынешнего дня она принадлежит ему. Бегаёт дед по мандату непонимающими глазами, дружески говорит:

– Недоразумение, товарищ: я живу в этой комнате полтора года. Жену из нее схоронил...

И товарищ дружески говорит:

– Но у меня же мандат. Вы видите, у меня – мандат.

Дед на дыбы.

– Помилуйте, я – писатель! Я не могу оставаться без комнаты.

Товарищ улыбается.

– Что значит – писатель, когда я сам лицо уполномоченное? Идите в жилищный отдел.

Дед смотрит на Бегунка.

– Что делать?

Бегунок презрительно отворачивается.

– Сходим. Дорогу мы знаем.

А сердце колотит тревогу: быть беде!..

4.

Сегодня переселение в землю Ханаанскую. Аленка укладывает кукол в сундучок, дед чеботарит. В одной руке – шило, в другой – иголка с белой ниткой. На коленях – старая резиновая калоша с оторванной подметкой. Над нуждой смеется старик.

– Аленушка, дай мне новые нитки.

– Папа, ведь у нас нет их!

– Разве все вышли?

– Давно.

– А-а, ну ладно... Я старыми почию... они думают – напугали меня. Я и в скворешнице проживу. Я, милые мои, не это видел... Опоздали немножко пугать-то. Все равно, солнышко не покинет нас. Натопит пожарче свою печку и скажет: «Грейтесь, ребята бездомные!» Фу ты, леший ее закусай! Опять ничего не выходит. Аленка, нет ли бечевки у нас?

– Зачем тебе?

– Как зачем? Не выходит у меня ничего. Резина рвется, нитки рвутся, а мастер я – вятский.

– Это какой, папа, вятский?

– Ну, очень хороший. Была одна дыра, стало четыре. Вот какой я мастер! Поищи, дочка, мы лучше бечевками свяжем ее...

– Папа, дай я кольну разок.

– Или умеешь?

– Я недавно платье чинила себе – хорошо вышло.

На лбу у Аленки русский хохолок. Стоит в фартуке, руки в боки. Черные смородинки налиты хозяйской заботой. Мать... Вылитая мать! Теплый свет в глазах, хорошая подкупающая улыбка. Волной нахлынули воспоминания, растревожили, растравили. Выронил дед резиновую калошу из рук, наливаются скорбью морщинки.

– Эх, Аленка, Аленка! За тебя сердце болит.

Приходит Бегунок. Лицо веселое.

– Скоро в Крым поедem, дедок?

– Сейчас поедem. Аленка, готова ты?

– Я давно готова, папа.

– Ну, я тоже готов. Милый друг, заверни-ка Шекспира. Помогай! А чернильницу положи в карман себе. За кроватью мы после придем. Эх, чугунок еще остался. Аленка, ложку-то подбери! Беда с этим имуществом.

Бегунок утешает:

– Вы, дедок, не тужите. Правда, комната у меня маленькая, тесно нам будет. Ну, зато вместе. Устроим коммуно писательскую...

– Верю.

Дед надевает двое чулок, старые резиновые калоши с привязанными подметками.

– Батюшки мои, багажу-то сколько! На извозчике не увезешь.

Бегунок у дверей держит Аленкин сундучок с куклами, мешочек с посудой, рваный чемоданчик с дедовыми рукописями. Сам дед прижимает Шекспира под мышкой. Аленка от нетерпения прыгает: на улицу хочется. Всю зиму просидела запертой царевной в разбойничьем терему. Из дверей выскакивает первая. Глаза разбегаются.

– Папа, папа, гляди-ка!

А нога в луже торчит по самую щиколотку.

– Па-а-па!

Дед вышагивает позади с белой расчесанной бородой. Рыжее писательское пальто, нитками перевязанные калоши на ногах делают его неузнаваемым среди уличной толпы. Ноздри раздуваются, в глазах – вызов.

– Тронь, кому надо, узнаешь, кто я!..

А солнышко – прямо в лицо старику:

– Милости просим, бродяги бездомные! Милости просим!

Бегунок дергает за рукав.

– Дед, калоша-то развязалась...

– Калоша-то? А мы ее опять привяжем.

Кладет Шекспира на ближнее крылечко, ставит ногу на ступеньку, долго пыхтит над калошей.

– Мы ее вот как перетянем, она и не будет дурачиться...

Смеются ребяташки над дедовым ремеслом, смеется солнышко с высокого неба, смеются Бегунок с Аленкой, но веселее всех самому деду. Топает перевязанной калошей по мокрому тротуару, лукаво подмигивает.

– Вы, ребята, не смейтесь! Мы еще проживем. А уж рассказ напишем, так напишем. Прелесть!

Иван Макаров

Мучительный выбор Ивана Макарова

Из книги «Заметки читателя»

Маргарита Смирнова в предисловии к вышедшей в 1970 году книге «Черная шаль» пишет об авторе собранных в ней произведений: «В биографии Ивана Макарова пока еще много белых пятен». Однако сегодня можно, пожалуй, констатировать, что в своего рода «белое пятно» превратилось для нас и само творчество этого писателя...

Иван Иванович Макаров родился в селе Салтыки Рязанской губернии. Окончил сельскую школу и поступил «на казенный кошт» в Рязскую уездную гимназию, по окончании которой 19-летним юношей убежал на фронт, чтобы сражаться в рядах Красной армии. В 1929 году его первый роман «Стальные ребра», выдержавший впоследствии шесть изданий, опубликовал журнал «Молодая гвардия», а за год до этого рассказ молодого, никому не известного литератора «Зуб за зуб» получил премию на Всесоюзном литературном конкурсе.

Произведения Макарова побуждали критиков в основном к негативным оценкам. За свою недолгую творческую деятельность он успел написать, кроме повестей и рассказов, шесть романов, два из которых, «Большой план» и «Индия в крови», так и не увидели свет. Незавершенный роман о советском крестьянстве «Голубые поля» был опубликован только в 1959 году, уже после смерти автора. Разоблачению мещанства посвящена повесть «На земле мир» (1931), судьба белой эмиграции изображается в «Рейде Черного Жука» (1932), строительство Магнитки – в романе «Миша Курбатов» (1936). Темы актуальные, вполне отражающие дух времени, что находило понимание у тогдашних читателей, но не у рецензентов, упрекавших автора в проповеди идей, чуждых рабочему классу, а то и в прямой симпатии к эксплуататорам. Не устраивало их главным образом то, что они обозначили словом «психо-иррационализм»: дескать, действия макаровских героев подчинены воле слепого случая и не поддаются объяснению с точки зрения здравого смысла. Звучали, впрочем, и другие голоса. Например, критик М. Шаталин в предисловии к одному из изданий «Стальных ребер» возражал коллегам: «Так называемый иррационализм Ивана Макарова – своеобразное отражение особенностей той общественной среды, где борьба за личное обогащение порождала причудливые изгибы психики и странные, на взгляд современного читателя, жизненные ситуации». Еще в 1929 году в опубликованной на страницах «Литературной газеты» статье «В атаку на психологический реализм!» А. Безыменский энергично потребовал от писателей изображения не личности, а коллектива. Несколько дней спустя в той же газете появилось «Открытое письмо Ив. Макарова тов. Безыменскому», в котором, в частности, говорилось: «На вашей дороге заманчиво и модно блестели передо мной вывески: «Сегодняшний день», «Коллектив, а не личность» и т. д. А с другой дороги на меня угрюмыми глазами смотрели Толстой, Достоевский, утверждение отдельной личности и прочее, по-вашему – реакционное. Мучительны были для меня эти дни выбора и колебаний... Качество коллектива зависит от качества личностей, составивших этот коллектив. А, стало быть, занимаясь анализом личности, я анализирую коллектив».

На фоне в том числе и таких вот прений происходило становление великой нашей литературы 20–30 годов прошлого столетия. И далеко не последнее место в ней занимает роман И. И. Макарова «Черная шаль» – куда как подходящая мишень для обвинений в иррационализме и упреков в «достоевщине». История Павлика Морозова – а именно нечто подобное ей

лежит в основании романа – может быть преподнесена безапелляционным тоном агитки, а может вызвать к жизни всякого рода «иррациональные» размышления. Пойдя вторым путем и создав страстное, противоречивое и исполненное большого внутреннего драматизма произведение, Макаров, думается, доказал, что выучка у творца «Бесов» далеко не всегда предполагает нечто скверное и нездоровое.

Жизнь Ивана Ивановича Макарова, репрессированного и посмертно реабилитированного, оборвалась незадолго до Великой Отечественной войны. Его сын, ушедший на фронт добровольцем, погиб 7 мая 1945 года. Жена Вера Валентиновна сумела сберечь рукописи мужа – именно благодаря ей увидел свет роман «Голубые поля».

Михаил Литов

Смерть

1.

Алексей Романович Минин, неграмотный коммунист, много думавший о своей смерти, однажды проявил несвойственную ему сообразительность и храбрость: на большаке ночью он задержал двух спекулянтов, показав им портмоне вместо револьвера и щелкнув замком, как предохранителем браунинга.

В ячейке ему стали говорить:

– А ведь ты, Романыч, крепчей делаешься с каждым днем. Ишь ведь, румянец у тебя – будто мак расцвел!

В ответ Минин сухо кашлял, сильно надавливая на грудь ладонью, и опускал голову, точно стыдясь, что на рябом его лице такой жуткий румянец.

В ячейке стояло огромное зеркало из барского дома. Оставаясь один, Романыч глядел на пунцовые пятна своих щек и чувствовал смятение, подобное тому, какое испытывал в дни юности, когда смотрел на закат, на дождевые облака, похожие на чудовищные клочья ваты, подмоченные кровью.

Еще больше он поражался чрезмерной яркости своих глаз. Он уходил от зеркала, испытывая едва ощутимую душевную боль и тоску.

Ему казалось, что он проглотил тонкую, как детский волос, иголку, и она, покалывая, блуждает в нем.

2.

В «неделю транспорта» он еще раз отличился. «Неделя» совпала с масленицей, грозились бездорожье, и мужики заупрямились.

Чрезвычайные законы, которыми грозил уезд, не повлияли на мужиков, потому что угрозы были слишком часты и обычны в те дни.

И все-таки двести подвод вовремя выехали из Самарина за пятьдесят верст в губернский город подвозить дрова на станцию.

В последний день масленицы, по издревле установленному обычаю, самаринская молодежь каталась на выгоне. Подвод было так много, что из них образовался сплошной круг.

По предложению Минина этот круг оцепили веревками, согнали всех к волости и велели прислать хозяев с тулупами и харчами на неделю.

Мужики сбегались дружно, но без харчей и тулупов.

Им объявили, что, если они поедут, им дадут по фунту керосину за каждый день. Выберите: ехать или не ехать.

Мужики выбрали – ехать. Их отпустили, и они привезли на кормовых салазках овес, сено и харчи.

Уезжая, мужики знали, что придумал это Минин. Вернулись они через две недели, но один из них пришел в Самарино пешком на пятый день. Он втихомолку бранил Минина, скрипел зубами и пил самогонку маленькими, злобными глотками. Он точно кусал питье.

Оказалось, что его лошадь задавило паровозом.

3.

Вскоре наступила отчаянная оттепель. Днями едкий туман дымился над весенней слякотью. Кашель у Минина стал глухим, как отдаленные выстрелы, а румянец таким ярким, точно бы на землянистые щеки его приклеены круглые пунцовые бумажки.

Иногда из горла, вызывая удушливое щекотанье, шла скользкая и соленая струйка крови. Во сне он потел холодным липким потом, а когда чесал тело, под ноги ему набивалась влажная шелуха отмирающей кожи.

И все же надежда на выздоровление люто единоборствовала в нем с томлением смерти, всякий раз побеждая. Уж не вставая с постели, Романыч, полный нетерпения, глядел в мутный туман, ожидая, когда поярчает солнце.

Но однажды победила тоска. Случилось это в тот день, когда распределяли триста калошин, присланных вместо керосину за «транспортную неделю» и похожих друг на друга только по форме. Их две недели сортировали. Обнаружилось, что почти все они на правую ногу. Попалась и такая калошина, на которую сбегались смотреть как на диво. Потом ее выпросил приказчик на люльку новорожденному сыну.

Калоши делили по жребию, и мужику, у которого задавило лошадь, досталась пара шестого и одиннадцатого номера, и обе на правую ногу.

Он принес их в волость, шваркнул на стол и сказал:

– У меня же разляпушило мерина, и мне дают такие!.. Отдайте их косому!

Тогда в волости решили, что и впрямь калоши надо отдать Минину. У него дочь в невестах.

Получив калоши, Минин осмотрел их, стащился с постели и, завязав в платок, сам отнес их обратно.

– Мне эдакие на кой, товарищи любезные? – беззлобно сказал он, покашливая в растопыренную ладонь, и ушел, забыв платок.

Коммунисты взяли у приказчика калошину назад, отослали ее в придачу к прежней паре и велели сказать Минину, что из них никто не получил калош.

К ночи у Минина разыгралась необоримая тоска. Он матерно изругал жену и дочь, требуя отнести обратно калоши.

– Неужели мне за всю мою жизнь пришлось три Калошины? – одиноко спросил он наконец.

Потом затих и уставился в мутное окно.

У него не было двора. Корова и две овцы находились в риге, которая стояла саженьях в ста от избы.

Минин старался вспомнить, где стоит рига: прямо ли перед окном или сбоку. Он пытался разглядеть, но глаза не осиливали темноты. Он уснул, так и не уверившись в расположении риги.

Его разбудило зарево. Он приподнялся на локтях и поглядел в окно. Было похоже, что оно заставлено багрово-красным стеклом.

Он узнал, что горит его рига... И тут же страшно испугался того, что ему совсем не жалко риги, которую с трудом собрал и которой гордился, как неопровержимым знаком мужицкой оседлости. А теперь она горит, и ее совсем не жаль. Как будто чужая...

В это же мгновение Минин почувствовал, что он скоро, очень скоро умрет.

Он медленно почесал указательным пальцем висок и нащупал большую ямку на коже, наполненную липким потом.

«От оспы это, рябина...» – подумал он и тихо покликнул жену:

– Аксинья... Окся...

Он закашлялся, со свистом вдыхая воздух и выхаркивая его с кровью на растопыренную ладонь. Наконец, справившись с удушьем, он взвизгнул что было мочи:

– Оксюха, черт спячий, гори-им!

Аксинья заголосила еще на печке, как следует не сообразив, что горит. Проснувшись дочь, подскочила к окну и тоже завопила:

– Мам-ы-ыка... ри-ига-а!..

Они выскочили, не закрыв двери. В одиночестве Минин долго и бездумно глядел на багровое окно. Почувствовав холод, он вспомнил про дверь и забранился, стараясь крикнуть возможно громче:

– Дверь расхлебятили, черти!..

Он прислушался к тишине и подумал:

«Помирают нонче многие, и каждый по-своему. Вот осенью летось офицера расстреливали, он просил попа причаститься. Ему сказали: «Вот еще выдумал... нечего, нечего». Тогда он пошел. Шел прямо и колотил по сапогу палочкой и пел тихо:

Все тучки, тучки понависли,
На поле па-ал туман.

А когда ему велели повернуться затылком, он сказал: «Я вам не холуй, зайдите сами». И опять запел:

Все тучки, тучки понависли...

Офицера закопали в канаву. Аксинья сходила посмотреть и сказала мужу: «Панихиду отслужить надо – не пес, чай». Ей Минин задорно и храбро ответил, что панихида – народный дурман.

Размышляя об этом, он внезапно вспомнил, что и его, коммуниста Минина, похоронят без священника и умрет он без причастия.

– Дверь расхлебятили, черти, – опять проговорил он вслух, чувствуя, как в его сознании возникает забота, поднимаясь медленно, несуразно и темно, как грозовая туча ночью.

«Как же это? Почин с меня... без попа? Я первый из села-то?» – подумал он.

Вдруг он вскочил, испытывая колючую боль в груди, оглядел темную избу. Окно стало меркнуть. Багровый свет, который обычно пугает и раздражает все живое, успокаивал Минина. Теперь окно побледнело, и ему показалось, что на стекло осел иней. Было очень холодно. Стен и очертаний предметов он уже не видел. Ему показалось, что он сидит один в темноте. На миг ему представилось, что, когда его закопают, он будет в полном сознании лежать с открытыми глазами – непременно с открытыми – и вечно ничего не видеть.

– Как же это?... Неужели почин с меня – без причастия, без попа? Как же тут быть-то, Аксинья? Окся... Аксинья! – торопливо, но тихо проговорил он.

Потом бросился к окну, вперил в потухающее пожарище полуслепые глаза и, перебиваясь клокочущим в груди кашлем, завопил:

– Аксинья... Аксинья... Аксинья!..

Голос его на сей раз был чист и необычайно звонок.

4.

Умирали в тот год, действительно, помногу. Больше всего крушил тиф. В Самарине обстояло так: человека кусала вошь, через несколько дней тело у него становилось горячим,

точно его, как резиновый мешок, наполнили кипятком. Если человек много пил самогонки, он обычно умирал.

О тифе очень спорили бабы: как получается смерть?

Когда прошел слух, что помирают от вши, бабы перепугались. Верх взяла Аксинья, жена Минина, убедив всех, что умирают не от вши, а Господь Бог карает мором за грехи.

Тогда сторонница смерти от вшей сказала:

– А раз так, то бесприменно же через таких, как твой раскосый, – и к делу и не к делу кричит: «Бога нет... Бога нет!..» Вот те и нет!..

На этом спор кончился. Но с этого дня Аксинья больше всего думала о смерти мужа. Она знала, что умрет он не от тифа, а от чахотки, но все-таки скоро умрет.

Когда Минин был крепок в своих помыслах, она ни разу не заикнулась ему о Боге.

Но, услышав от догоравшей риги его вопли из избы, она сразу поняла, что наступил час.

Она распрямилась, повернувшись к церкви, и, грозно подняв над головой кулак, замерла.

Потом широко и размашисто перекрестилась трижды и быстро пошла к избе.

Минин умолк при ее появлении и уронил на подушку отяжелевшую голову.

– Соборовать надеть тебя, – сурово и непоколебимо произнесла она.

Несколько мгновений оба они молчали.

Молча, прямая, неторопливая и уверенная в себе, она взяла в чашку воды, прочла над ней молитву и перекрестила ее трижды. Что-то каменное было в движении ее руки. Набрав в рот воды, она опрыснула мужа и проговорила:

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Так она сделала еще два раза.

Он не противился.

Она наскоро оделась и сказала так же сурово про дочь:

– Счас придет Анна, а я пойду...

В эту минуту уверенность в своей победе покинула ее. Ей показалась чересчур легкой сама победа.

Дойдя до двери, она встала и прислушалась.

– Лексей, – позвала она и подошла к нему, – Лексей, ты в памяти ай нет?

Минин молчал. Аксинья нагнулась и поняла, что он в памяти. Уверенность снова вернулась к ней.

– Перекрестись, Лексей, – приказала она.

Он не пошевелился. Дыхание его участилось и стало более хриплым.

– Пе-ре-крестись, Лексей! – повторила она более громко и более властно.

Минин чаще задышал и зашевелил кистью правой руки.

– Не сюда рукой... Вот куды... – как на ребенка, крикнула она, полная какой-то внутренней радости, темной и жуткой, как лес.

5.

Этой ночью, вскоре после пожара, к Сергею Степанцеву прибежал испуганный священник и спросил, как ему быть: жена Минина требует его соборовать.

Руководитель ячейки сказал ему, что если он пойдет, то ему отвернут голову.

– Конечно, конечно, – согласился священник.

6.

Самое мучительное истязание – сидеть над больным. И если бы люди не были скованы друг с другом цепями привычки и обязанностей, Сергей Степанцев никогда не пошел бы к умирающему Минину.

Утром Сергей проснулся рано. Первая мысль у него была о том, что ячейка должна будет хоронить Минина без священника. Мысль эта подействовала на него так же, как если бы, проснувшись, он прыгнул в холодную воду. Необычайная бодрость напружинила его тело. Проникаясь небывалой решимостью, он испытал какое-то тайное и щекотливое чувство радости, что Романыч умирает и что они, коммунисты, прямые и гордые, как на демонстрации, понесут красный гроб мимо церкви.

Он стал одеваться. Затягивая солдатские ботинки, он впервые заметил, что носки отпорлись. Когда он шевелил пальцами, подошва отделялась, скалясь деревянными шпильками, как разинутая пасть тупоносой щуки. Сергей внимательно осмотрел свою одежду. Его очень раздражала ярко-зеленая заплата на поле желтой гимнастерки, которую случайно прожег искрой от сигарки. Чувство досады и растерянности овладело им. Точно бы на похороны Минина нужна была одежда как на праздник по случаю рождения человека.

«Заплата – наплевать! Но ботинки?..» – спросил он себя. Потом, озарясь мыслью, он разыскал кусок тонкой проволоки, ножницы и, протыкая ими, вместо шила, дырочки в подошвах, стал взнуздывать проволокой.

По дороге к Минину Сергей встретил мужика – хозяина раздавленной лошади. Мужик, расписываясь ногами в своей нетрезвости, повернул за ним, крича во все горло:

– Сергей Егорыч! Бога нет?.. Пускай по-вашему!.. За каким же ч-чертом бабу за попом посылать? Р-раз нет – околевай без попа! Вы других все норовите сунуть... Нет, вот сами лезьте! Посмотрим!

На его крик выбегали мужики и, собираясь кучками, шептались меж собой.

Сергей шел молча, перенося крики, как удары кнута. Лишь в сенцах Минина он подождал мужика и из-за притолоки совсем внезапно и в упор глянул ему в глаза. Мужик умолк, колени его согнулись и ослабли, точно Сергей саданул его ножом. Так он постоял всего несколько мгновений, потом, быстро и совершенно уже не заплетаясь ногами, пошел прочь.

7.

Сергей долго и убедительно говорил с Романычем, наслаждаясь своим голосом, чувствуя, как злоба на мужика, хозяина раздавленной лошади, тонет в его непостижимом красноречии, и досадуя только на то, что хриплый кашель Минина перебивал его речь.

Потом, насытившись, он встал уходить. Он совсем не проникся умиранием Минина, а думал о красоте и возвышенности им сказанной речи. Он еще слышал свой вдохновенный голос, приятный и сладостный, как отзвуки песни, стихающие вдали.

Ему снова захотелось говорить. Он опять сел. Но Минин как раз закатился. Сергей подождал, подбирая слова и замечая, что в углах губ Романыча выступила мутно-красная и пузырящаяся пена. Невыносимый запах гниющей крови послышался ему. Как странно – он не замечал его до сих пор. Сергей почувствовал, что воодушевление его исчезло, как тонкая, блестящая ткань, брошенная в пламя.

Он опять встал и, еле подбирая слова, заговорил:

Сергей Егорыч Оплошать ты, конечно, Романыч, оплошал. Но, может, поправишься. Вполне можно поправиться. Ты дышишь по-дурному. Зачем ты этак дышишь? Эх, хрипит! Дыши ровней... А умирать – сегодня ты, завтра я. Помирать всем надо... Так, Романыч,

сверху донизу все устроено... Ты не задерживай дух-то в нутре... Выдыхай его ровней. Видишь, кашель от этого... Эх!.. Эх!.. Черная какая кровь-то!.. Дурная... Ты о ней не жалкуй. В организме она все равно ни к чему... Ну, прощай... Я из ребят кого-нибудь пришлю к тебе... Ты открывши рот-то держи. Зачем ты зубы сцепил? Воздух хуже в груди спирается... Ну, покуда, говорю... А это ты из башки выкинь – собороваться... Брось! Мужикам на смех получится... И думать забудь! Нам с тобой все глаза повыколют... Слышишь?.. Романыч?

Он вышел, не закрывая за собой дверь. Акси́нья подскочила к двери и хлопнула ею с таким остервенением, что в окне треснуло стекло.

От Минина Сергей зашел в волость и сказал коммунистам, что у Романыча надо дежурить по очереди: у него дух поддержать и бабу обезвредить.

8.

Пораженная яблоня засыхает медленно. Но наступит день – и последний вялый лепесток упадет в траву, и желтый лист, покрытый чугунными пятнами, ржавый, останется беззащитно трепетать на сухой ветке, окруженной цветом и благоуханием сада. И тогда медленно движение соков замрет.

Так же умирает человек в чахотке. С пунцовым румянцем и с невыразимым блеском глаз он ходит до последнего часа. Но случись ему прыгнуть с табурета – он умрет враз, выхаркнув последний кусок легких.

И только в этот миг сознание и мысли угаснут в нем.

Ни Бог, ни ужасы ада, о которых ежеминутно говорила Минину жена, совершенно не пугали его. В это он не верил. Он боялся только темноты, которую он ощутил прошлой ночью после того, как померкло зарево. Вернее, он боялся неизвестности, подкарауливающей его. Он не мог себе представить, как он, в котором есть еще полное ощущение себя и который сейчас испытывает чувство боли и даже вполне представляет, как мужики будут смеяться над коммунистом, если он причастится, перестанет вдруг все это испытывать.

Раз подумавши, что он, закопанный, будет лежать в непроницаемой темноте в полном сознании и даже будет слышать, что делается там наверху, над ним, Минин уже не мог заглушить в себе этой мысли. Он поверил в это. Ему представилось, что в миг смерти утихнет только боль, а сознание останется, и, даже закопанное вместе с ним, оно, как тоненький волосок, проникнет сквозь землю наверх, а сам он, бессильный встать, будет испытывать кошмар одиночества и досаду, что над ним все движется, все живет.

Мучительная жажда иметь какую-то щель, просветинку к этому живущему возникла в обрывках его чувств.

Днем при свете солнца мука эта была еще выносима. Но, когда стемнело, Минин совершенно перестал чувствовать боль в груди – так сильно овладел им страх темноты и безвыходности. Вечером к нему пришел коммунист Захряпин, сумрачный мужик. Минину он сказал всего десять слов и сидел молча, дежуря по наказу Сергея.

Один раз, едва откашлявшись, Минин неожиданно для самого себя проговорил:

Сергей Егорыч Овцы надо мною ходить будут... на погосте... Как же быть-то?.. Окся?..

Услышав это, Акси́нья, молча сидевшая у печки, решительно подошла к нему.

– Лексей, прими причастье... лекше тебе будет... Прими, Лексей.

Минин через силу повел глаза на то место, где сидел угрюмый Захряпин. Он не видел его при свете едва тлеющей гаснички, в которой вместо керосина горело деревянное масло.

Вдруг Минин усиленно забился в какой-то судороге и тонким, пронзительным и необычайно тягучим голосом завыл:

– Акси́нья... О-окся... беги-и...

Захряпин ровно проснулся. Он нагнулся к Минину и проговорил:

– Брось, брось, Минин... Курам на смех...

Но Аксинья, схватив его за ворот, рванула назад. Ее движения были так быстры и неожиданны, что он не успел сопротивляться ей.

– Яша-а, уйди-и!.. Аксишенька, беги скорее-е-е!.. – не переставая, выл Минин.

Тогда Аксинья удвоила силы. Подняв Захряпина, она яростно толкнула его в дверь.

– Ид-ди, ид-ди! Тебе чужая болячка-то не больна-а!.. – надрывно всхлипывая, просто-нала она.

Потом быстро открыла сундук, порылась там, достала огарок свечки.

Минин все еще выл, торопя ее.

Сняв икону, Аксинья прилепила к ней свечу, зажгла и поднесла к мужу.

– Перекрестись, Леня, – сказала она.

Он, перестав выть, только содрогаясь, всхлипывал.

Удушливый приступ кашля завладел им, он со стоном и хрипом через силу втягивал в себя воздух и кашлял снова и снова. Казалось, что мокрота, хлюпающая у него в глотке, задушит его. Взгляд его недвижимо утулился в пламя свечи и жадно поглощал его.

Не дождавшись, когда кончится кашель, Аксинья перекрестила его и сунула ему в руку икону, загородив ладонью пламя, колеблющееся от его кашля.

Он судорожно стиснул икону. На лбу у него выступили серебряные капли пота.

– Руку... пусти... от света, – хрипя, произнес он.

И умолк, пожирая взглядом яркое пламя свечки.

Аксинья накинула на плечи что-то рваное, похожее на шаль, и выбежала.

9.

Сергей спал, когда пришел угрюмый Захряпин. Разбуженный, он неохотно высунул из-под дерюги голову и спросил:

– А?

– Минин прогнал, – буркнул Захряпин и стал вертеть сигарку.

Сергей вспомнил о Романыче, и стало досадно, что нужно вставать с пригретого места. Он молча протянул руку за куревом.

Скручивая папиросу, он опять подумал, что нужно вставать. Но, когда коснулся пальцами ног холодного пола, он снова юркнул с головой под дерюгу, жадно стремясь насладиться теплотой, как приятным вином.

– Ну и черт с ним! Исключим из партии завтра... – раздраженно, почти крикнул он.

И они молча принялись курить.

Когда Захряпин уходил, в дверях с ним встретился священник.

– Сергей Егорыч спит? – осведомился он.

– Нет, – ответил Захряпин и повернул назад к Сергею.

– Как же быть, Сергей Егорыч? – заговорил священник, робко приближаясь к постели, – Аксинья крик подняла... бабы сполошились... Я-то, конечно, отказался.

– Ступайте... черт с ним!.. – протянул Сергей и, повернувшись лицом к стене, дотронулся ладонью к кирпичам и быстро отдернул руку: ему показалось, что он попал в холодную воду. – Черт, говорю, с ним! – еще злей крикнул он и залез под дерюгу с головой.

– Я тоже так думаю, Сергей Егорыч. Пускай! – высказался священник и поспешно ушел вместе с Захряпиным.

Оставшись один, Сергей попытался уснуть. Но сон не шел.

Так, уткнувшись с головой, он лежал, придумывая оправдание поступку умирающего коммуниста.

Внезапно Сергей вспомнил о пьяном мужике, с насмешками провожавшем его вчера. Воспоминание подействовало на него, как звуки тревожного рожка на солдата.

Он вскочил, быстро оделся и пошел к Минину, стараясь догнать священника.

Но священник был у себя дома и готовился к совершению обряда, повествуя бабам о том, что гонение на веру бывало и вдревле и что особенно самаринских коммунистов бранить не стоит... Люди они сговорчивые...

– Им так велено сверху, – добавил он.

10.

На этот раз Сергей не был так красноречив, как вчера. Войдя к Минину, он проговорил:

– Алеша... милый, что ж ты с нами делаешь-то?.. А? Сколько из нашей ячейки на фронте убили... а? А Ваню моего как летось в восстание искромсали?.. Алеша... ни за что ведь!.. Ваню летось...

Сказал он это с такой неподдельной искренностью, что Аксиныя сразу же отошла к печке и села там, где обычно ожидала, когда измученный страхом муж позовет ее.

Минин же, едва осиливая боль, отлепил от иконы свечку и, выпустив икону из рук, пытался столкнуть ее с себя. Сергей понял его и приподнял у него на груди одеяло. Икона сползла и упала за кровать. С трудом переводя дыхание, Минин долго пытался заговорить и не мог. Наконец шепотом он произнес:

– А свечку ты... не туши... Светло... Керосину нет... А то бы с лампой...

Сказав, он на одно мгновение взглянул в темный угол избы, но тут же оторвал взор и снова впился в пламя.

Сергей взял у него свечку и прилепил ее на столбике кровати, в изголовье. Минин пытался повернуть голову вслед за ней, но у него захлюпало в горле, и он закашлялся, закатив глаза под лоб и не отрываясь, таким образом, от пламени свечи.

В это время в избу ввалились бабы.

– Вам чего тут? – привставая, гневно спросил Сергей. – Соборовать пришли? К-как же... вот... Вон он куда отшвырнул вашу икону-то! – указал он под кровать.

Бабы изумленно смотрели то на него, то на Аксиныю. Аксиныя молчала, не поднимая на них взора и тем давая знать, что она бессильна. Бабы убрались так же молча, как вошли.

Несколько спустя появился священник. Сергей встал ему навстречу и молча мотнул головой.

Священник исчез неслышно, точно растаял в темноте. Сергей снова сел у кровати и, бережно поправив Минину одеяло, посмотрел в направлении его взгляда – на свечу. Она уже догорала. В глазах Минина снова нарастало смятение. Он то и дело бросал испуганный взгляд в темный угол избы.

Вскоре свеча догорела. Свет ее уж от Сергея казался маленьким желтым шаром. Непроницаемый мрак быстро наполнял избу. В этой темноте даже Сергею становилось тягостно слушать хриплое дыханье умирающего.

Когда свеча померкла, Минин снова завожился на постели и закашлял. А когда кашель прошел, он вдруг завыл каким-то свистящим воплем:

– Аксиныя... нет ли у тебя свечки-и?

– Нету свечки! – зло выкрикнула Аксиныя.

Сергей едва разглядел, что она привскочила.

Вопли Минина превратились в какой-то невыразимо жуткий, нечеловеческий рев и хрипенье.

Иногда он прерывался кашлем и снова возникал. Видимо, Минин пытался что-то сказать, но у него получался только рев.

Сергей не мог перенести его воплей. Он вскочил, заметался около него, чувствуя, как помимо его воли в горле у него затягивается спазм, вызывая непреодолимое желание глотать слюни.

– Романыч... молчи... Алеша, милый... молчи. Я сейчас принесу свечей... Алеша... сейчас... – тормозил он Минина. Наконец, не выдержав, он взвизгнул: – Молчи-и жа!.. – и, выскочив из избы, пустился что было сил к священнику за свечами.

Свежий воздух и то, что он не слышал более дикого воя умирающего, укрепили его вновь. Испытывая смущение, он объяснял священнику:

– Вы, конечно бы, по-своему истолковали: мол, в свечках святая сила... А по-нашему, просто-напросто: никто не захочет помирять в темноте...

– Пойдите, Сергей Егорыч, я их заверну в бумажку, – услужливо перебил его священник, и Сергей, несмотря на то, что очень торопился, подождал, когда священник аккуратно завернул свечи.

Когда Сергей принес свечи, у Минина на груди стояла икона. Он цепко держал ее за края и вопил жене, которая заправляла мигающее, чахлое пламя гаснички:

– Аксинья... беги скорее...

Когда Сергей подскочил к нему, он завопил голосом, полным мольбы и свистящего хрипа:

– Сережа-а, уйди-и!.. Помру – тогда, что хошь, делай со мной.

Озлобленный Сергей стиснул сверток, скрутил его, потом скомкал, ломая свечи, и, бросив в угол, выбежал из избы.

11.

Умер Минин на следующий день, оставаясь до последнего момента в памяти. Событие, которое предшествовало его смерти, о котором узнали после, произвело потрясающее действие на всех.

Утром его перенесли на лавку в передний угол. Когда его переносили, он не выпускал икону из рук. Из окна прямо ему в лицо ударил яркий свет.

Он уже совсем не кашлял, чувствуя, что если закашляется, то мгновенно умрет.

Будучи не в силах повернуть голову к окну, он скосил глаза и жадно смотрел на свет. Казалось, он поражен им. Страх, во власти которого он был ночью, притупил его чувствительность и схлынул, подобно волне: ужас, каков бы он ни был, если он продолжается долго, перестает быть ужасом. То же произошло и с Мининим.

Глядя на окно, он заметил маленькую вещицу.

Это была стеклянная баночка из-под горчицы, которую Минин некогда приспособил под чернильницу. И он вспомнил, как в первые дни по вступлении его в партию он и Сергей сидели за столом. Сергей что-то писал и говорил ему:

«Ты, Романыч, хоть расписываться научись, на должности тебе нельзя без этого. В уезде сраму не оберешься. За тебя печать приложить да крест поставить... разве это дело?»

Потом Сергей четко вывел ему: «Алексей Минин». Это было самым трудным испытанием для него, которое он осилил. Буквы, которые он научился выводить, были какими-то беспомощными, подобно черным мурашкам, опрокинутым на спину. Но они ему казались красивыми.

Тогда он и приспособил эту баночку из-под горчицы, найденную в барском именье, под чернильницу. Плотно прикрыв ее деревянной затычкой, он привязал к ней нитку и носил ее на борту пиджака, как школьник.

Он испытывал чувства гордости, когда при мужиках не спеша ставил печать и выводил подпись, наслаждаясь их изумленьем.

Это воспоминание решило все.

В последних судорогах, рванувшись на постели, он зашипел, едва слышно подзывая дочь:

– Анна... Анна, беги за Сергеем... Беги скорей, скорей...

Но тут же он почувствовал, что не дожидется Сергея. Придерживая одной рукой икону, он с невероятными усилиями потянулся к чернильнице и открыл затычку.

Когда пришел Сергей, Минин был мертв.

В левой окоченевшей руке он держал икону, на которой сверху донизу виднелась густая черная полоса.

Правая рука Минина свешивалась, касаясь пола, и палец на ней был до половины в чернилах, уже высохших.

Остров

1.

Из губернии Федор Михайлович вернулся только к вечеру и едва пробрался к себе на остров. Он остановился около одинокого дуба, отделившегося от леса и страшного своим ростом и старостью. Вглядываясь в его большое, как пролезть человеку, дупло, он ласково и утвердительно пошлепал по шершавой коре, точно ласкать дуб нужно было, точно дуб, как хорошая добрая лошадь, нуждался в его хозяйской ласке.

Сын не ждал его совсем; утром висел непроглядный, разъедающий остатки снега туман, а в полдень спокойно и величественно, как летом, калило солнце; лощины набухли водой, а дорога взрыхлела и стала немыслимой.

Мокрый по горло и прозябший, Федор Михайлович устало опустил на лавку, сосредоточенно посмотрел на высокого, миловидного, но очень печального сына и сказал:

– Хотя и советская власть, а правда в огне не горит и в реке не потонет.

Он скрутил жгутом полу мокрой поддевки и прямо на пол выжал струю грязной воды. Сын взял веник и принялся растирать лужицу. Он уже догадался, что в губернии отец выиграл тяжбу с поселком, но все же осведомился:

– Значит, наш опять?

– Ставь самовар, – не отвечая, приказал отец.

Парень бросил веник и полез на печь за самоваром.

– Уток не привязал? – спросил отец и пояснил: – Шел, селезней много, шикают.

– Тебя ожидал, – ответил сын.

– А сам не сварил башкой? – забранился Федор Михайлович. Не переодеваясь, он взял крестовину, поправил на ней силки и вышел.

На дворе встревоженным, зовущим криком кричала утка, а в ответ ей с простора снижающей зари нежным и взволнованным шипением отзывался селезень.

«Пораньше бы часом: пяток верный попался бы», – подумал Федор Михайлович и, переловив уток, поспешно направился к реке.

Не обращая внимания на обжигающий холод воды, он забрел по колено, поставил крестовину и опять бережно расправил силки. Потом привязал уток и бегом пустился к ближайшим кустам.

Испуганный и радостный крик утки, тяжелый всплеск воды, а затем мягкое шипение услышал он на полдороге.

«Подсел», – обрадовано подумал Федор Михайлович. Из-за куста он ясно разглядел, как крупный, матерый селезень, судорожно вытянув зеленую шею, быстро поплыл на уток. У крестовины селезень на мгновение настороженно и подозрительно поднял голову, остановился, но не совладал с весенним буйством крови, как-то беззащитно прошипел и рванулся вперед; не достигнув уток, он запутался в силке, взлетел, упал снова и забился в молчаливом смертельном испуге.

Федору Михайловичу он в этот миг показался поразительно похожим на зеленый, бьющийся на ветру платок.

Он снова забрел в воду, выправил селезня и схватил его за шею, чтобы привычным и сильным взмахом руки оторвать голову прочь. Но селезень вытянул шею вдоль спины и покрасневшими от страха глазами немигаючи смотрел в безбрежное пространство мутного неба и свинцовой воды.

– Прощаешься? – любовно спросил Федор Михайлович и снова схватил его за шею. И опять, увернувшись, селезень смотрел на небо, чуть покачивая головой.

– Проворный какой... Врешь, у нас, брат... – Федор Михайлович хотел сказать «крепко», но селезень внезапно рванулся, выскользнул из рук и быстро-быстро исчез вдали.

Федор Михайлович долго смотрел ему вслед, туда, где сливалось в полумраке и уж трудно было разобрать: небо это или вода.

– И до чего прикрасу много в миру! Птица и та жизнь обожает, – вдумчиво проговорил он и прислушался к едва уловимому, но мощному шелесту разлива.

Возвращаясь, он стронул чибиса, и тот с пугающим фурчанием крыльев носился в темноте перед ним, оглашая воздух режущим, неприятным криком:

– Ку-убырк-кубырк...

– Чего сполошился? Кто с тобой свяжется? Не режут тебя – орешь? Аль гнездо разорил? Мечешься, оглашенный! – сердито проговорил Федор Михайлович и опять подумал: «Вить как все в миру устроено! Луговка и та о своем гнезде соображает. Все своим чередом».

Уж от избы он посмотрел на взгорье, где редкими и смутными огнями рассыпались окна поселка, замыкающего его хутор. Тут же он вспомнил про свою тяжбу, ради которой в такую распутицу ездил в губернию. Вспомнил и проговорил, обращаясь в сторону поселка:

– Эх вы, ненавистники трудовой жизни! Луговка и та про свое гнездо смысл имеет.

В эти минуты так уверенно думалось Федору Михайловичу о своей незыблемой правоте в изнурительнодолгой тяжбе с поселком. Войдя в избу, он еще раз утвердил, обращаясь к сыну:

– Правда – она в любые века свой закон означает.

К вечеру совсем не предвиделось ненастья, но не успел еще Федор Михайлович распариться за чаем, как подул ветерок, накрапал дождь, а вскоре плавно и неслышно, как лепестки, летели крупные и водянистые хлопья снега.

Федор Михайлович подумал снять уток, но не осилил себя уйти из тепла. И уснул.

Проснулся он далеко за полночь. Оделся и вышел. Небо морозно вызвездилось. Оно напугало его своей бездонной прозрачностью; сквозь порывы ветра слышался далекий и смутный звон льдинок, приковывающих к себе слух тем, что Федор Михайлович долго не мог понять, откуда он исходит.

«Окраины замерзли, звенят», – предположил он. Но звон долетел со стороны леса, и Федор Михайлович догадался, что звенит дуб, высокий и черный в прозрачной бледности неба. Голая крона его, сплошь унизанная сосульками, тихо качалась в ударах ветра, и сучья, как тонкие черные руки, тянулись друг к другу и с едва слышным звоном чокались льдинками в каком-то молчаливом и мертвом пиру.

Федору Михайловичу на мгновение представился иным этот дуб: одетым в темную и душистую листву и под тяжестью этой листвы не шелохнулась ни одна ветка.

И вновь он видел перепутанные тянущиеся руки и слышал еле уловимое чоканье льдинок.

Это сравнение зеленого, нешелохнувшегося дуба с мертвым, обледеневшим всколыхнуло в нем непонятное чувство тревоги: показалось, что никогда уж больше не распустится дуб в своей могучей и тяжелой силе.

– Ужель сохнешь?... – шепотом спросил Федор Михайлович.

И стало душно ему в своем одиночестве в это мгновение. Он вернулся в избу и долго сидел на приступке печи, пытаясь вдуматься в свое встревоженное чувство.

Вскоре у него сложилось понятие, будто не он выиграл трехлетнюю тяжбу, а поселок. И странно, это чувство крепилось, хотя Федор Михайлович хорошо помнил, что выиграл в тяжбе не поселок, а он сам.

Не осилив душевной смуты, он разбудил сына и велел снять уток. Но когда сын оделся, Федор Михайлович растерянно покликнул его:

– Володяшка, погоди... До утра постоят.

Измученный сын молча разделся и лег и, приоткрыв угол дерюги, украдкой всматривался в отца. Через десять минут Федор Михайлович опять одиноко окликнул:

– Володяшка, не спишь?..

Сын натянул дерюгу на голову и согнулся, касаясь подбородком своих колен. Потом тихо ответил:

– Спать уж некуда больше.

И опять очень долго молчали оба. Казалось, Федор Михайлович спит, сидя на приступке.

– Чего ж спать?.. Выспался уж... – громко повторил сын.

Федор Михайлович вскинулся и взволнованно спросил:

– Володяшка, нам ведь определили?.. Да?.. Там... в губернии?..

– А я знаю? – раздраженно, откинув дерюгу, спросил сын.

– Ай, Володяшка, не в том речь... Укрепу на душе нет, бестолочь ты, душевного укрепления нет! – воскликнул Федор Михайлович и поник снова. Сын посмотрел на него и опять укатился с головой. Спустя некоторое время Федор Михайлович пришел к определенной мысли и почувствовал нестерпимое желание рассказать ее сыну. Он несколько раз поднимал голову, чтоб заговорить, – он знал, что сын не спит, – и все же оробел потревожить его, закутанного в дерюгу.

Так и не заговорил он с сыном и тихонько вышел наружу.

Утренняя заря опускалась с неба: бледным, слипающимся светом растворила она темную таинственность ночи. На взгорье мутным силуэтом маячили избы поселка.

– И что такое получится, ежели вся птица начнет яйца в одно гнездо складывать?.. И что ж такое получится? – испуганно спросил Федор Михайлович, обращаясь к поселку.

Потом долгим, пристальным взглядом осмотрел свой остров, замкнутый разливом и лесом. Помолчал. Поглядел на одинокий дуб и решительно промолвил, обращаясь к сыну и хорошо сознавая, что его тут нет:

– Правда – она нерушима вовеки. Она, Володяшка, в самой природе, правда. Луговка, скажем, имеет свое гнездо – имей. Рядом – иное гнездо. И по закону ему положено находиться. Другому.

И опять посмотрел на дуб, всякий раз утверждающий Федора Михайловича своей вечностью и ростом.

В синем рассвете посветтели обледенелые его ветви. И показалось Федору Михайловичу, что плакал ночью дуб и что сосульки на нем – большие застывшие слезы.

Федор Михайлович быстро зашагал к воде снимать уток. На полдороге он остановился, оглянулся на дуб, на его частые жемчужные льдинки и тихо заключил:

– Всплакнулось, горюн?..

Частыми подпрыгивающими шажками пробежал Федор Михайлович по острову и стремительно ворвался в избу.

Сын вскинулся к нему навстречу и громко, испуганно спросил:

– Что?

Отец молча стоял перед ним и, сотрясаясь телом, смотрел вверх его головы в потолок.

– Ну, что-о?.. – визгливо крикнул сын.

– Володяшка... Володяшка-а... – только и мог проговорить Федор Михайлович и упал в кровать, лицом в жесткую, как солома, подушку.

До обеда пролежал Федор Михайлович в постели не шелохнувшись, словно мертвый.

И до обеда неподвижно просидел на заступке сын, на том самом месте, где ночью сидел отец.

На дворе тоскующим мычанием корова просила пить, и было слышно, как оголодавшие лошади теребили пелену избы.

Но ни отец, ни сын не встали убрать скотину.

Внезапно Федор Михайлович приподнялся и бесцветными, неподвижными глазами уставился на сына.

– Володяшка... отберут, скажем, у нас третьяка в общее гнездо, кто его кормить-лелеять станет? Кто?.. Душу заживо червяки грызут, – потрескивающим голосом сказал он и опять рухнул в подушку.

Сын расслышал, как в пересохшем его рту шуршит язык. Но вскоре Федор Михайлович встал, не проронив ни звука, ушел на взгорье, в поселок.

Там он, встретив первого попавшегося мужика, остановил его и спросил:

– Пусть мне определил суд, ну а утки почему страдать должны? Убивать – убивай самого, а при чем тут птица?

Мужик ужасно оробел перед Федором Михайловичем. Он беспомощно огляделся и, заметив соседа, позвал его к себе. Но сосед быстро юркнул в избу. Тогда мужик оглядел опустевшую неожиданно улицу поселка и, убедившись в неизбежности отвечать Федору Михайловичу, заискивающе спросил:

– А что такое случилось, Федор Михайлович?..

Хотя он хорошо был осведомлен о случившемся: еще рано утром его жена вернулась от колодца и пространно известила:

– У Федяшки, – так Федора Михайловича на поселке прозвали за то, что сына своего он называл Володяшкой, – уток Семен Бреев поразил, назло ему. Четырех селезней унес и крестовину сломал. Так ему и надо, кроту! Опять охлопотал, проныра, христосиком прикинулся. Весь поселок по рукам, по ногам связал. Бреев принес даве обломок с силком мужикам: «Вот, байт, все равно пройдем. Быть по-нашему!»

Не ответив мужику, Федор Михайлович опять спросил:

– А сколько прежних долгов мною вашему поселку прощено? Одним хлебом всех вас засыпать мог бы.

Потом безнадежно обошел его и направился в избу к Семену Брееву.

Семен Бреев щипал селезней. Груда мелкого желтого пуха лежала перед ним на столе. Когда вошел Федор Михайлович, Семен Бреев проворно смахнул со стола пух, а полуоципанного селезня спрятал за спину.

– Здравствуй... – растерянно проговорил он, весь облепленный пухом.

Федор Михайлович молчал, поглядывая то на него, то на лавку, где лежали три уже оципанные тушки.

– Селезень ноне не особо жирен, – растерянно заметил Семен Бреев. Из чулана на них молча смотрела очень маленькая и растрепанная жена Семена. Федор Михайлович спокойно опустился на лавку, потрогал селезней и, потирая засалившиеся пальцы о стол, произнес:

– Семашка, смотри мне прямо в глаза. В работниках ты у меня восемь годов изжил – сказано ли мной тебе хоть одно дерзкое слово за все восемь годов?.. Опять же и долгов тебе сколько прощено?

Семен молчал. Но жена неожиданно рванулась из чулана и оголтело затараторила, передразнивая Федора Михайловича:

– Прощено?.. Прощено?.. Тобой прощено?.. Властью прощено... Какой прощальник нашелся!.. Христос Христом, что язык-то прикусил?

Федор Михайлович приподнялся и опустил опять.

– Власть. Что ж ты кричишь, Марфушка? Власть... – неопределенно произнес он, потом вдумался и добавил: – Власть, она, Марфушка, властью и есть. Что ж про нее кричать, про власть?.. Власть – она опять же для порядку назначается. И то сказать: остров мне, а не вам она, власть, определила. И за порубку деревьев вас к ответу назначила. А долги, Марфушка, я вам от своей душевной правды простил. Пускай поровняется народ и начинает сызнава.

Он поднялся, чтоб уйти, но Семен Бреев внезапно загородил дорогу:

– Хозяи-ин... – плаксиво покликал он. – А как в моей безысходности, ежели все сызнава?.. Коровенки и той ребятишкам в пропитание нет. Опять и поясницей, мочи нет, к ненастью маюсь с тех пор, как у тебя на острову кряжами надорвал...

Но вдруг он рванулся к Федору Михайловичу, поднес к его лицу недощипанного селезня и озлобленно заорал:

– А-а... тебе бы все сызнава?.. Кряжи за тебя ворочать, а ты сызнава в сторонке: «У тебя, Семаша, силенок погрузней моево – бери вот эти». Ишь ты какой мягкий... что-то не клейко у тебя получается без меня-то. Сызнава?.. По правде хошь?.. Хуже собаки надоел ты со своей правдой! Извечно все правда, правда... Чхать мы хотели на твою правду! Вот куда ее... – и Семен ткнул пальцем в недощипанный хвост селезня. – У нас своя правда!

Но Федор Михайлович, казалось, вовсе не слышал и не понимал его. Он спокойно, точно Семен – встретившийся на дороге столб, обошел его и скрылся в сенцах.

Все так же степенно подошел Федор Михайлович к узенькому спуску с обрыва на остров.

Нежилым и покинутым показался сверху этот родной участок, и даже, казалось, расположен-то он ниже уровня разлива; и до чего было поразительно, как только не захлестнула его до сих пор весенняя свинцовая вода?

Низеньким и беспомощным показался и дуб, утверждающий незыблемость Федора Михайловича. Глухой и забытой виднелась изба и такой приземистой, точно она погрязла, потонула в землю. Тяжелая, мокрая тишина начиналась прямо с краю обрыва и давила на остров.

Федор Михайлович ощущал эту влажную тишину оврага и впервые за долгую свою жизнь на острове подумал:

«Воздух тут, наверху, куда вольготнее. Ветрам нет задержки», – и тут же отметил, что там, внизу, как только спустишься, совсем не замечается эта сырая и тихая тяжесть воздуха.

Федор Михайлович нерешительно стоял на краю обрыва. Вглядываясь в то место, где привязывал уток, он вспомнил, что надо вытащить из воды тяжелый вагонный буфер, служивший грузом для крестовины. И в соответствии с теми мыслями, что возникли у него в брани с Марфушкой, он проговорил:

– Первые дни она, власть, тоже глупость допустила. Но потом справилась: истинный закон стала оправдывать.

Сказал он совсем равнодушно, как будто все обстоятельство с властью ни капельки его не касается. Усмехнулся и добавил:

– Очевидная невозможность, чтоб, допустим, птица в одно гнездо яйца складывала.

Он решительно шагнул вниз, но, вдохнув холодный, сырой воздух оврага, выскочил вверх и громко спросил самого себя:

– А было ли по всей округности голосистее моих уток? Разлапушка, допустим. Кто выразительнее ее «осадку» селезню мог сыграть? Ажно застонет, бедная, бывало. Ах, ненавистники!

Резким прыжком, не боясь поскользнуться, бросился он вниз. Не замечая глубоких луж, вбежал в сенцы, схватил топор и, подскочив к дубу, принялся с остервенелой яростью рубить его под корень.

И каждый удар топора с каким-то шипением звучал в большом дупле. Казалось, что дуб недоумевающе фыркал одинокой темной ноздрей.

Рубил Федор Михайлович, не соблюдая порядка, не жалея себя, до усталости, до полного изнеможения.

Сын молча следил за ним от избы. Заметив, что отец выбивается из сил, он закричал во всю мочь:

– Уйду-у... Куда глаза глядят уйду! – и убежал в избу.

Федор Михайлович перестал рубить, отнес в сенцы топор и, с трудом сдерживая тяжелое дыхание, прислушался, что делает сын. В избе было тихо, и это обстоятельство напугало Федора Михайловича: сын – в избе, и так тихо, точно там уже никого нет.

Он так и не решился войти к сыну и пошел вынуть из воды грузило.

Когда Федор Михайлович возвращался, прижимая к груди ржавый вагонный буфер, на пороге с ним встретился сын. Он был одет по-дорожному: с большой тяжбинной котомкой, из которой выпирали носками кожаные сапоги.

Отец сразу понял, что сума эта сготовлена сыном не теперь, а раньше: так обдуманно и способно пришиты к ней сплетенные, как девичьи косы, веревки. И сам-то Федор Михайлович внезапно почувствовал, что будто известно было ему про этот уход. И даже совершенно изумительное, непостижимое облегчение нашел он в этом решении сына.

– Идешь, Володяшка?.. – слабо улыбаясь, спросил он и прибавил: – Ну, с Господом, Володяшка, с Господом...

Не дойдя до леска, сын повернулся, постоял минуту и, глядя на все еще улыбающегося отца, иступленно взвизгнул:

– Жизнь... осело, а не жизнь! Сгинешь в молодых летах, – и быстро скрылся в деревьях.

Федор Михайлович подождал минуту и суровым, размашистым крестом осенил путь сына.

2.

До чего зарос остров к началу лета! Даже у самой избы, прямо под окнами, густо вымахнула злая крапива. После ухода сына Федор Михайлович ни разу не поднялся на взгорье.

Еще с весны, в яровой сев, запряг было он соху, но почувствовал вдруг, что сердце уже вовсе не лежит к земле. Да так и бросил соху на полборозде в сухой бурьян сошниками вверх.

И полдня скитался бесцельно по острову, а с обеда смешал овес с просом и до глубокой полночи прямо в непасть и по зеленой озими рассеивал, сосредоточенно вслушиваясь, как с внятным шипением падает в землю зерно.

А потом, когда, заглушая друг друга и перевиваясь в каком-то жутком сплетении, вошел густой посев, выпустил Федор Михайлович свою скотину на волю, на остров, и всю ночь в судорожном рыдании бился под дубом, громко жалуясь ему:

– Ну, и что ж получилось от этого смешивания?.. Что ж получилось?.. Кому и где черед вырастать-зреть?

Утром утих и уж не загонял больше скотину на двор.

Тогда же вскоре видел он, как по его участку прошел приезжий человек с Семеном Бреевым, и, привыкший к тяжбе, угадал в нем землемера. Но уж ни прежней злобы к нему, ни заботы не ощутил он в сердце.

И дни установились с той поры ровные, ясные и, как листья на дубу, похожие друг на друга.

Одно лишь тревожило Федора Михайловича: напал он еще в мае на гнездо чибиса и охранял его от неосторожной скотины, терпеливо ожидая вывода. И в тот день, когда появились птенцы и, широко раскрывая желтые треугольники клювов, писком возвестили о своих потребностях, получил Федор Михайлович бумагу через поселковый Совет.

В ней категорически предлагалось причислить остров к поселковому коллективу, а требуемое количество леса срубить на постройку колхозной мельницы. Там же определялось вырубить душевой надел Федору Михайловичу на новом месте, на Козихе, исходя из количества живых душ.

Едва глянул он на бумагу и побежал к птенцам.

Спугнутый им третьяк бросился на гнездо, и, почитай, из-под копыт его с криком поднялся чибис. Федор Михайлович схватил огромную хворостину и до тех пор носился за лошадей, пока одичалый третьяк не бросился в бурьян и, споткнувшись на оглобли, грузно упал животом на сошники. Потом рванулся, волоча за собой залитую кровью соху, но так и не встал больше.

Осмыслив беду, Федор Михайлович побежал в избу и наскоро принялся набивать патрон, чтобы добить лошадь.

Но выстрелить не хватило сил. Отбросив заряженный бердан, он уллучил-таки миг, выдернул из брюха лошади соху и долго смотрел, как третьяк, путаясь ногами в сизых вытекших кишках, заводил в подлобье огромный лиловый глаз.

Едва оторвавшись, он заметил из высокого бурьяна, что по лесу ходит Семен Бреев с каким-то приезжим человеком в зеленой фуражке и метит топором деревья. Федор Михайлович видел, как они подошли к дубу, и слышал, как Семен Бреев громко и оживленно убеждал, показывая на огромные сучья:

– Ведь ежели этикие сваи, товарищ техник, заколотить, сможет ли какой напор их свернуть? Да разве сможет?! Да разве мыслимо? Ведь, может, он, дуб, на моих соках вырос!

Легко, точно поигрывая топором, он зарубил большую, до древесины, метку на стволе.

Когда они ушли, Федор Михайлович, забыв про третьяка, подошел к дубу и внимательно осмотрел метку. Потом замесил глину и старательно, как подрезанную яблоню, замазал ею зарубку. Затем он принес новые посконные вожжи и большую теплую онучу. Онучей он аккуратно покрыл глину и обвязал вожжами.

Лишь после этого Федор Михайлович ушел к гнезду чибиса, лег там на траву, поглядывая в раскрытые желтые пасти птенцов, прислушиваясь к стону издыхающей лошади.

На другой день мужики принялись рубить лес. Семен Бреев с техником подошли прямо к дубу. Приставляя лестницу, Семен Бреев нарочно громко и насмешливо кричал:

– Федяшка, ты не особо беспокойся! Мы только сучья спилим, колоду тебе на домовину оставим. У тебя, чай, душа лежит по-старинному в долбленном гробу похорониться. А тут тебе и долбить особо не придется: залазь в дуплину и помирай. Слышь, что ль?

Укрепив лестницу, он заметил, что метка его обвязана. Он занес топор, чтобы перерубить веревку. Федор Михайлович подскочил к нему:

– Семашка, не тронь! – крикнул он и уже спокойней и прибавил: – Не тобой обвязано, не тобой и сымется.

Но Семен Бреев слегка отстранил его и перерубил одно кольцо.

– Не тронь, говорю! – опять крикнул Федор Михайлович и изо всех сил толкнул Бреева. Семен упал. Но вступился техник:

– Товарищ!.. Товарищ!.. Не вам говорят: отойдите?.. Кому говорят?.. – закричал он на Федора Михайловича.

Федор Михайлович вдруг поник, опустил плечи и, покорно отойдя в сторонку, испуганно и напряженно смотрел на него. Точно он никак не мог вникнуть в смысл его слов.

На шум прибежали мужики из лесу; Семен Бреев молча в два ловких приема перерубил остаток вожжей и топором же добела очистил с дуба глину.

Казалось, именно это и привело Федора Михайловича в исступление. Плавнo наклонив вперед туловище, с необычайной легкостью он пустился в глубь острова к гнезду чибиса. Схватив пригоршнями птенцов, он высыпал их в фуражку и, так же плавно нагибаясь корпусом, прибежал назад, к дубу.

Привыкшие к нему чибисы летали над его головой, недоуменно вопрошая: «Чий-и... Чий-и...»

Семен Бреев уже сидел на суку и прилаживался рубить. Мужики молча расступились. Федор Михайлович, подойдя вплотную к дубу, большой ладонью стиснул птенцов и широким взмахом, похожим на тот, каким он крестил путь сына, шваркнул их о корявый ствол.

– Ишь ты ведь... Вот топором бы тебя за это, – озлобленно заметил сверху Семен Бреев.

– Аа-а... топором?... Топором, Семашка... топором? – усилия с каждым словом голос, прокричал снизу Федор Михайлович.

Семен Бреев молча продолжал рубить сук.

– Что ж, Семашка, топором? – еще раз крикнул Федор Михайлович и, уж не сгибая туловища, не спеша пошел в бурьян к лошади.

Жизнь все еще слабо билась в ней. Федор Михайлович на одно мгновение взглянул в ее медленно ворочающийся глаз, уже затянутый мутной голубой пленкой.

Потом поднял заряженный бердан и так же не спеша, но на деле очень быстро пошел на мужиков. Мужики мгновенно разбежались.

Семен Бреев тоже опустил ноги, чтоб слезть, но попал ими не в ту сторону, где лестница. Побоялся ли он спрыгнуть или растерялся, но только так и остался, повиснув грудью на суку, вглядываясь в землю, как бы соразмеряя расстояние.

Федор Михайлович подошел под него, поднял вертикально бердан и, внимательно выцелив, выстрелил ему в живот...

В город спешно написали о вооруженном выступлении кулака, и ночью в поселок прибыл конный наряд милиции.

Милиционеры пешим строем цепью двинулись на остров. Но никого не нашли там.

Лишь чибисы, охрипшие от тоски и крика, кружили у дуба и без умолку плакали в слепую темь: «Чий-и... чий-и...»

Два месяца спустя на острове поселковый колхоз выстроил новую мельницу и просорушку. Когда вставили затворни и обмелела река, Федора Михайловича нашли на том месте, где он привязывал весной уток.

В смешную, нелепую позу усадили его вода и время. Он сидел согнувшись, точь-в-точь как сиживал некогда над гнездом чибиса, вдумчиво заглядывая в раскрытые желтые пасти птенцов.

Ноги его до колен засосала тина, такая же серо-зеленая, как его лицо. А руками он обнимал привязанный изрубленными вожжами к шее вагонный буфер, служивший некогда грузом для крестовины с силками.

Только волосы и борода Федора Михайловича показались всем чрезмерно длинными.

Впоследствии, дожидаясь очереди на помол, мужики часто спорили: растут у утопленников волосы или не растут?

Больше говорили, что растут.

Евгений Федоров

Судебное дело

1.

С того дня, когда Касторий Баран получил повестку, приглашающую его в Горбулевскую волостную земельную комиссию на разбор судного дела о покосе, ему не было покоя. И какой может быть после этого покой? Отбери у него Алексей Страшный спорную луговинку – хозяйству Кастория Барана конец. Какое это хозяйство, пять десятин подзола и семеро едоков, а покосу ни горсти.

До большевиков Баран ежегодно снимал у этого самого Алексея Страшного одну десятину в «Кувшинках», и за это он отрабатывал натурой. «Кувшинки» в то время было непроходимое болотце над глухим озером, – а как стал Баран отрабатывать за покос Алексею Страшному: рыл канавы, драл кочки, боронил, чего только ни делал за десятину покосу, – что после этого с «Кувшинками» сделалось?..

Мужики на деревне смеялись над Бараном:

– Смотрите, вон поехал наш Болотный к крестному отцу в гости...

За три года аренды Баран из болотца сделал такую луговинку, что давала укусу пудов на полтора-два с десятины...

Случилась в Октябре революция. Пришла только под самые рождественские святки. Мужикам столько работы наделала, мозгованья, что не приведи бог. Народ в этих краях смирный, беднота испокон веков придавлена. Кругом деревень фольварка шляхетские именья мелких дворянчиков, а со Столыпина хуторов крепких много народилось.

Стояла зима. В логах, в буграх, в пуховиках снеговых спали именья дворянские и хутора богатые. А в деревнях шмелиные рои гудели: толковали и горланили мужики. Ходили толпами, как стая голодных волков от именья к имению, от хуторов к хутору, выбирали земельку, одетую в боярский парчевой сарафан...

В волости старшину убрали солдаты, вернувшиеся с Германского фронта. Вывеску «Горбулевское волостное правление» сняли в первый черед и вывесили красное кумачевое полотнище. Писарь Акакий Акундинович стал именоваться секретарем Горбулевского волревкома. А председателем ревкома избрали Яшку Вавилова, того самого, который по многу раз удирал с фронта и урядники которого не раз ловили... Такой забубенный парень был, высокий, как тополь, нос большой с горбинкой, а говорит – рубит с плеча.

– Ловите не ловите, а воевать не буду...

Начальником волземотдела выбрали Комара. Какой это был человек? Человечишка. Маленький, бородка ершиная, глаза, как мышонки, бегают – юла настоящая. Начальствовать страсть любил. Первым долгом притащил из поповского дома бюро старинное, поставил в отдельной комнате и засел за него. Начальствовать любил, но всякому угодить старался. И вашим и нашим: и кулаку и бедняку. Никого обидеть не хотел.

Волревком, комитеты бедноты по деревням учредил. Мужики стали в гости ездить в заснувшие в пуховых зимних перинах именья, богатые хутора. Ездили, забирали по мешочку ржи, то овсеца...

Заснувшие в логах именья, богатые хутора проснулись, зашевелились... Эге... подбираться стали... Хватит, ребята, спать...

Съезжались богатеи друг к другу, беседы вели. Что и как... Как это царь сдрейфил и что теперь после этого всего будет... Только толку от этого мало жди. Яшка Вавилов, язва ему в бок, беспокойный человек, каждый день надумывает, да все новое и новое. И откуда это у него берется, как из прорвы сыпится! Декреты совнаркомовские на стенах волревкома наклеил. И все по декретам, да по декретам норовят... Мужики, как шмели, на сходках: айда, наше право, – дождались... Ловкий мужик Ленин этот самый, больную жилку нашу нащупал...

Из именьич и богатых хуторков слухи плели, с Германии его подослали...

А Влас седой, борода по пояс, над глазами брови, как мох на березе – косматые да корявые опустились. Глаза серые, добрые из-под лохматой шапки смеются народу. Стоит он на сходе, хлопает большими замусоленными кожаными рукавицами и смеется:

– Шалишь, ребята! Германцы такую голову не сделают... Кендовая голова, крепкая голова... В ревкоме видал, на стенке висит. Такая голова либо в Алтае завсегда родится, либо на Волге-матушке, потому силы в тех краях много и народ там родится особенный...

Снова он хлопал рукавицами и шурился со смешком серыми глазами на мужиков.

В логах богатые именьича и хутора не спали: ссыпали золотое зерно в мешки и прятали куда кто: и в навоз, и в снег, и в лес возили, только бы не досталось мужику.

А мужики смирные были: не били, не ломали и в округе пожаров не делали...

Касторий Баран в ревком чуть не каждую неделю ходил, прислушивался к декретам. Декреты земельные – милое дело. Богатые мужики стращали, что все это смехота одна, курам на потеху... Что вот пройдет неделька, другая и все переменится... Будут вам, мужикам, декреты-то... Зачешете затылки...

2.

Прошли святки, подкатила масленица. В этом году такая масленица, что дым коромыслом стоял. Мужики блинов горы напекли, самогон в моду ввели. Яков Вавилов ругал на сходках мужиков:

– Что это вы, ироды, надумали революцию в сивухе утопить? Погодите же, я до вас доберусь!.. Поймаю кого, бороды выдеру ваши козлиные...

Архип бородатый по пояс, плечи косая сажень. Ладошка, ежели в кулак сложить, молот выйдет, давай только наковальню. Гладит ладошкой бороду и Яшке умилительно, как девица, ответ держит:

– Яков Семенович, комиссар наш ты милый... Нельзя, Яков Семенович, допрежь нельзя... праздник такой вышел... Земля, и хлеб, и слобода, и все тут... Потешиться, стало быть, надо...

– Я те потешусь... – погрозил Яшка Вавилов, а сам засмеялся.

Мужики заготовили весело, раскатисто.

По логам эхо тоже заготовило, а на колокольне вороны шарахнулись...

Закружили, завертели снега. Парчу серебряную, боярскую копытами коней вздыбили, взметнули, раскидали. А в розвальнях парни (с фронта германского вернулись) развеселые, а девки – ягодки земляничные. Щеки алые, губы алые – ребят дождались, колокольцами смеются.

По дорогам, по запушкам поезда масленичные бубенцами сыпали. Сыпали, хохотали, разливались-потешались... А гармоника, как пьяная, пиликала и визжала, номера с коленцами потешными вырабатывала...

А по избам половицы со стенами-переборками ходуном ходили. Фронтвики откалывали плясовые.

В небе, как золото червонное, смеялось пьяное солнце и все ближе и ближе подбиралось к земле и шевелило золотыми раскаленными иглами ее боярские парчевые наряды в логах.

3.

Изба у Кастория Барана на краю села, словно село подпирает, чтобы с горы не скатилось, ушла по пояс в землю по самые окна. Груз большой, нивесть какой, приняла избушка, втопталась в земельку по пояс, уперлась корявыми руками-подпорками, нахлобучила шапку мужицкую мономашку-крышу соломенную на серые глаза-оконца. А за околицей солнце, как мужик в пестрорядной рубаше в колеснице с бубенцами со смехом раскатывается.

На дворе прогалы черные, а с крыши закапали серебро – капельки: руп... руп... полтинник... руп...

А под стрехой воробьи: Чир-вик... Чир-вик... Чир...р... Веснянка идет...

В хатке душно, семь едоков. Деду Амосу невтерпеж духота зимняя, избыная. Прокисла она овчинами, да кислой великопостной капустой...

Восемь десятков, как восемь галок, мелькнуло и улетело. И не воротишь больше.

А как веснянка улыбку свою покажет, так деда на завалинку тянет...

Сядет дед Амос на заваленку седой, борода длинная-длинная, клином в колени ушла... Волосы на голове лохматые, пожелтели от времени... Глаза щурятся от золота, в небе раскаленного.

Сидит, кряхтит дед. Ой, дед ли? Сидит, кряхтит древлянин, седой, мшистый.

Древлянин с городища... С киевского, с древлянского, с забытого-забытого бревенчатого городища... Вот что...

Изба лапами-подпорками облапила деда и щурится со стариком в небо.

А в небе Ярила огненный в колесницах золотых раскатывает. Раскатывает, будоражит, кружит головы, зажигает кровь...

Яр-хмель бродит в жилах...

Бродит, бунтует кровь, туманит молодые головы...

Блуждает весна солнцем... Целует весна солнцем...

А дед кряхтит на завалинке:

– Ох-хо-хо... Веснянка идет... Веснянка...

И гладит дед широкой ладонью лысую, как слоновою кость, голову:

– Ох-хо-хо... Веснянка идет...

Маринка высокая, грудастая, сильная баба – жена Кастория – говорила мужу:

– Гляди, Касторка, весна идет... Кабы не прозевать. Мужики за шест взялись. Сходи к Комару. Попроси десятинцу покосу в «Кувшинках». Сходи, мой добрый...

Касторий жил с бабой ладно. Оба, как пчелы, над землею гудели, сосали с нее жизнь. Ребят здоровых четверню народили, хлебом ядреным от них пахнет. Работники скоро будут... А земли мало... Нахлобучил Касторий шапку – мужицкую мономашку и надумал к Комару сходить.

Дед на печи, как мальчишка задрал ноги, уперся ими в потолок и напутствие Касторию на дорогу кинул:

– Ты смотри, Касторий, перво-наперво выпроси в «Кувшинках» десятинцу с того самого, где кочки драл, потому без покоса зарез. Сдохнешь.

4.

Касторий шел дорогами, а дороги ручьями вспененными, неугомонными распевали...

Над прогалами почерневшими трепыхал-замирал жаворонок...

Солнце за ниточку золотую его подбрасывало, поддергивало.

На душе у Кастория смеялась радость.

Земля в прогалах, как конь вспененный, потела-дымилась испариной и ждала беременности.

По полям ходили мужики с шестами: землю делили.

А именица в логах, хутора богатые совсем надели черный креп траурный и грачи на берегах, как соборные певчие на поминках, горлопанили...

Горбули – большое село на горе. Под горой озеро. Налево взмахни – верст на пятнадцать оно ушло. Направо – взметни, – двадцать наберешь. На макушке горы церковь куполами зеленит, а на колокольне вороны с галками, как монашки, подворье открыли...

Улица по горбу горы протянулась веселая, нарядная.

А поперек ней – дом, дом большой, высокий с белыми колоннами. За домом сад большой. Дом – помещичий. Сельцо Горбули было когда-то помещичье. Да помещики все пораспродавали, оставили себе одно именице десятин в триста... А по Рождестве Яшка Вавилов выжил последнего помещика из старого дворянского гнезда и вселил в белый помещичий дом волостной ревком...

В волостном ревкоме отделы разместил. Каких только отделов не было! Земельный, военный, продовольственный, народного образования, посевком и другие какие-то... Мужику голова от них кружилась. А все надо, потому вся власть на местах. И мужику самому надо дело ладить. Не все барину с портфелями ходить, – пусть походит и мужик.

Старый Архип головой качал:

– Дивно это, сколько в волости портфелей завелось, а надо, все надо...

Касторий Баран долго блуждал по барским палатам пока нашел волземотдел.

Комар сидел в отдельном кабинете за старинным бюро и начальствовал. Касторий Баран прямо к бюро, – так и так, товарищ Комар... Земельки бы мне надо... Семь едоков, – земли три десятины...

Комар шмыгнул по бюро мышинными глазами, выдрал со старой волостной книги лист чистый и спрашивает:

– Тебе где, Касторка, земли?.. И сколько ты запашешь?..

– Мне бы много не надо... Мне бы «Кувшинку»...

– Ту, которую ты корчевал?..

– Ту самую...

– Сколь?..

– Десятинку бы одну...

– Изволь...

Комар наклонился над столом, обмакнул скрипучее перо, высунул язык и вывел крупными каракулями на вырванном из книги листике:

УДОСТОВЕРЕНИЕ.

Дано это удостоверение свободному гражданину Горбулевской волости Касторке Барану на право покоса в Кувшинках. Одна десятина от Алексея Страшного, в чем и расписываемся и печать к тому.

Комиссар волземотдела Комар.

Касторий ног не чувял под собой, когда домой бежал.

Прибежал, а Маринка ласково к нему:

– Ну, как?.. Ну, чего Комар сказал?.. Дал?..

Касторий вынул из-за пазухи белый лист со штемпелем и показал:

– Вон... а... Дал Кувшин...к...у...

– Кувшинку?.. Ах, ты мой желанный!.. Теперь наша, стало быть...

Касторий убедительно вскинул глазами:

– А то чья же?.. Вестимо теперь наша... Комар так и сказал: земля – трудовому народу.

– То-то, – проворчал дед. Кряхтя он слез с печки, подошел к окну, огляделся и сурово позвал сына: – Дай-кошь сюда бумагу... Надо посмотреть, што дали.

Касторий подал волостное удостоверение деду, тот долго приглядывался к нему, потом уставил большим корявым пальцем в печать и сказал:

– Самое што ни на есть настоящее... Потому печатка...

5.

Утром под ногами хрустел замороженный запуток, когда Касторий бежал к болотному озерцу, на «Кувшинки» свои глядеть.

Жаворонки в небе тараторили свои частушки переливчатые, а мужики ходили с шестами: все делили землю по едокам.

– Эй ты куда, Касторка?.. – кричали соседи.

– Как куда?.. На «Кувшинки»... И мне покосцу отвели...

– Ишь, ты... погоди только радоваться: Алексей Страшный без бою не сдаст.

– Да я нешто нахрапом?.. Мне власть отвела, все есть как по закону и документы у меня.

Касторий показывал удостоверение.

– Это дело... Правильно...

Все утро ходил Касторий Баран по лощинке, высчитывал, высматривал, где больше теретки сделать...

– Ты што тут это делаешь? – спросил Алексей Страшный, так неожиданно, что тот вздрогнул.

– Ничего, луговину осматриваю. Канавку-то надо глубже прорыть...

– А тебе какое до этого дело?.. Нешто луговина твоя?

– А чья же, как не моя!.. Вот и бумага...

Страшный взял волостное удостоверение и чувствительно, отдельно прочел его:

– Так это неправильное удостоверение, похерить его надо...

– Как похерить? – разозлился Касторий Баран.

– Очень просто, – похерить. – Алексей Страшный хитро погладил рыжую курчавую бороду, а под глазами забегали в усмешке тонкие морщинки: – похерить... Не понимаешь што такое?.. Твое удостоверение выдано 5-го числа. Третьего дня мне мужики сказывали, что ты в волость бегал на счет моего покоса, а я вечером сам к Комару ездил, и вон он мне дал... Эта бумажка законная, настоящая, потому позднее выдана. 8-го числа... Читай.

Баран был немножко грамотен, взял бумагу и прочитал:

УДОСТОВЕРЕНИЕ.

Настоящим удостоверяю, что документ, который выдан на десятину Алексея Страшного, на покос который гражданину деревни Топорки, Касторию Барану аннулируется.

Комиссар волземотдела Комар.

У Кастория забегали перед глазами зеленые круги.

– Как же это так?.. Разве это совестно?..

А Алексей Страшный гладил бороду и смеялся:

– Совестно, говоришь... То-то... А это не совестно, на чужой покос лезть?.. Чей это покос? А? Кто купил его?..

– Я же сделал его покосом...

– Было бы с чего сделать, я и сам сделал бы... Ловкий какой, на чужое зарится... Ну, и народ пошел...

Касторий шел черными полями к селу и думал:

«Как же это так, что это такое?»

Земля, как кобылица загнанная, дышала испариной.

Ручьи по дорогам убралась в землю, а на меже поглядывала первая зеленеющая травинка...

...Баран пришел в земельный отдел рано, народу в ревкоме было мало, за бюро сидел один Комар и читал газету. При входе Кастория, Комар поднял голову и мышинные глаза его забежали.

– Што ты?.. Документ?..

– Авсей Ерофеич, что же ты это наделал?.. Рази так можно?..

– Што?..

– Документ мой аннулировать...

Бумага в руках Барана дрожала, на душе у него была досада и обида.

– Рази так можно?..

Комар остановился мышинными глазками на бороде Кастория, потом привстал, протянул руки и приказно сказал:

– Дай-кось сюда бумагу!..

Касторий послушно положил удостоверение на бюро. Комар снова наклонился над столом, обмакнул скрипучее перо и, высунув язык, вывел каракулями на обороте удостоверения.

СПРАВКА.

Дана гражданину Касторке Барану из деревне Топорков, нашей волости, что луг, за ним взятый у Страшного, подтверждается, а документы, выданные Алексею Страшному, аннулируются.

Подписью и печатью настоящее удостоверяю.

Комиссар волземотдела Комар.

– На, получи... Обманул меня Страшный... Аннулировать надлежит тот документ. Аннулировал, изволь...

Баран бережно сложил документ, запрятал за пазуху и снова пустился в путь.

Дома Касторий никому о своей были не рассказал...

6.

Через три дня на Кувшинке снова стоял Касторий Баран, а Алексей Страшный вновь размахивал перед ним бумагой:

– На, читай... Ты думаешь, выдал тебе бумагу и все... Выкуш... и у меня есть...

Баран прочел удостоверение Страшного:

УДОСТОВЕРЕНИЕ.

Дано настоящее удостоверение Алексею Страшному о том, что луга Кувшинки за ним закрепляются, а прежде выданные документы на Кувшинки гражданину деревни Топорки Касторию Барану аннулируются.

Комиссар волземотдела Комар.

У Кастория закружилась под ногами земля. В ушах зашумело, а в уши лез насмешливый голосок Алексея Страшного:

– А ты думаешь как?.. Ох-хо-хо... Не наживал и не лезь... Ох-хо-хо...

Касторий взмахнул большой, как черное крыло ночной птицы, рукой, выхватил у Алексея Страшного бумагу и бросился бежать.

Черными прелыми полями бежал Касторий, приседая хватался за землю, сгребал комки сырой земной мякоти, клал ее на язык и пробовал. Соленая и холодная была мякоть земная...

Бежал Касторий к селу. Беспомощно по ветру развевалась его редкая бороденка, а глаза слезили.

Впереди грохотали-шипели льдины. Горбулевское озеро рвало зимний наряд.

А бежавшему Касторию казалось, что за ним гонится Алексей Страшный и смеется едко и жутко:

– Што ты думал и получишь землю?.. Шалишь!..

7.

Касторий направился к предволревкома Якову Вавилову.

– Яков Семенович! помилуй; что это?.. Пожалей, кормилец?..

И бухнулся Яшке в ноги.

Яшка сидел за поломанным письменным столом, притащенным из барского кабинета и диктовал бумажки секретарю. На нем было широкое серое галифе и френч, на плечах накинута реманная сбруя, военкомовская и на боку наган висит.

Яшка прыснул от смеха:

– Ты што это, Касторка, – али не узнал меня, что в ноги бухнулся?..

– Яков Семенович, замучили... Ей богу замучили... Застрамили на весь честной мир, стыдно глаза на деревню казать...

Голос у Кастория дрогнул, борода странно дрыгнула, ресницы быстро-быстро заморгали и из глаз выкатились две большие горошинки – мутные слезы.

Яшка вскочил.

– Ты чего это?.. Что с тобой?.. Слезу пуцаешь?.. Рази так можно?.. Обидел тебя кто? Вставай...

Хватил сильной пятерней за горб Кастория и поставил его на ноги. Заглянул ему в глаза:

– Да ты и впрямь сердечную слезу пустил... С чего это?..

– Комар обидел, Яков Семенович...

– Комар?

– Посмеялся над моей жистью... Разве так можно, Яков Семенович?

– Што? Как? Расскажи толком?..

Яшка усадил Кастория на скамейку, кругом сгрудились бородатые мужики. Корявые, лохматые, как пни мшистые... Сумрачно слушали.

– Ну, рассказывай...

Баран дословно рассказал быль с документами.

– Так это Комар?.. Идем...

Мужики разом загалдели:

– Это еще не то, Яков Семенович, Комар творит... Он тридцать документов на одну и ту же земельку выдает...

...Яшка, как зверь, ворвался в комнату волземотдела.

– Комар! Глаза у предволревкома горели, как раскаленные угли.

Комар уткнул нос в бумаги и его мышинные глаза бегали по строкам.

– Комар! – закричал Яшка.

Комар на минуту поднял голову.

– Сейчас, Яков Семенович, вот это дело треклятое...

И снова уткнулся в бумаги...

– Ты чего это зарылся в бумаги, будто и впрямь писарь заправский?..

Он большими шагами, как циркулем, отмерил наискось комнату, подошел вплотную к Комару, взмахнул распыленной пятерней и сгреб его за шиворот...

– Кома...р...р!..

Комар побледнел, выпятил глаза, рука его схватила горсть бумаги и в испуге зажала.

Яшка левой рукой извлек из кармана документы Кастория Барана и, держа правой на весу Комара, грозно зарычал:

– Комар, што эт...т...а?..

– Документы...

– Документы, а зачем ты их выдавал по несколько раз?.. А?..

Глаза у Комара забегали, как мышонки.

– Касторке я с печатками выдавал, а Страшному без печаток...

– Вот тебе печатки!.. Вон!..

Яшка сердито затряс Комара и понес его к выходу.

Мужики расступились.

– Смотрите, мужики, как Комар пищит...

Яшка остановился на крылечке, еще раз тряхнул Комара и толкнул его со всего размаха с крыльца:

– Штоб твоего духа Комариного не было. Убью, проклятый!

Комар с разбега соскочил с высокого ревкомовского крыльца, пробежал с десятков шагов, пытаясь сдержать равновесие, потом не сдержал, – пробежал на четвереньках и зарылся носом в сырую весеннюю землю.

По ветру заматались, вырвавшиеся из горсти Комара бумажки.

Яшка весело закричал:

– Мандаты подбери, парень...

Мужики весело и дружно захохотали...

8.

В земельном отделе после Комара за старинным бюро сидел высокий седой мужик Агап. На носу у него большие очки. Смотрел он на просителя поверх стеклышек. Длинные волосы были в пояску охвачены тонким пояском. Борода у него была пожелтевшая от старости, грудь закрывала широким веером. Агап писать по граждански не умел, а подписывал свою фамилию славянским шрифтом и всегда кстати и некстати ставил титулы. Мужиков он выслушивал сурово и дельно. Рядом с ним сидела письмоводительница. Он выслушивал и приказывал ей писать. Потом снова выслушивал, что она написала, выводил славянским свою подпись с титулами и бережно, священнодействуя, ставил печать...

– Получай бумагу, братец... Да береги ее, потому документ...

Агап никогда не сбивался, всегда помнил, что кому написал:

– Это ты бумагу на Мышкин Лог просишь?.. Э, прозевал братец ты мой, Аким документ на него выдал... Не обессудь, – дважды не могу...

Агап истребовал к себе через районного председателя Кастория Барана и вручил ему бумагу...

– Изволь, братишка, да гляди не теряй... Яков Семенович сам велел написать... Береги ее, потому Алексей Страшный – мужик хитрый...

Касторий Баран вышел из волревкома, бережно сложил документ, снял с головы свою шапку-мономашку и засунул его под подкладку...

– Так-то вернее... Слава те, господи...
И торопливо пошел к Топоркам.

9.

Летом и по осени ходили слухи по деревням. Кто знает? Может быть, и впрямь верны те слухи. Где тут разобраться в такие годы?

Кто говорил – Ленин на восемь лет собственность мужику дал, а кто говорит – совсем собственность вернулась – и именья и хуторки, богатые вправе требовать обратно земельку Ох-хо-хо... Грехи наши тяжкие. Бестолочь пошла... Концов не доберешься... Мендель с Погоста, рыбак богатый, мужикам рассказывал, что на Москве народилась новая политика. А какая, – сам шут ее не разберет...

Зима, владимирская вышивальщица, в парчу серебряную, в бахрому все разодела. Песенки под полозьями выпекает, да такие тонкие, голосистые. По деревне из труб дым синий, словно кадилом, по небу пишет.

Изба у Кастория Барана встряхнулась. И впрямь весь век подпирать село надоест. Выбралась из земли, освободила руки, стоит прямо и смеется большими окошками с карнизами резными...

Лесу казенного не своруешь, – своему двору не хозяин...

Годы были самые подходящие: мужики не дремали. Изб понастроили новых все. Касторий Баран тоже не ленился: вызволил свою хату, бока из них новые вставил, подрубы подрубил. Разделал избу, как полагается.

Марина – все полногрудая, полнолицая, не спадает с лица и живет с мужем в ладу... А дед Амос дотянул и много еще годков думает дотянуть. Ребята, как бобинки, по избе шныряют. Старшему десять годков, меньшему – четыре... Подмога растет, а пока... Ах, ты горе...

– Маришка, а Маришка, пошарь, может, под икону запропастилась бумага-то...

Умный мужик Агап-то был, хорошую бумагу выдал...

Марина, как колесами в телеге, бедрами шевелит по хате. Поднимет руку и на полочке пошарит, и в печурке, где серянки всегда хоронит, – может, тут найдется.

И в божницу лазила, и под божницу, и в шкафчик, и под постель, и в сундук большой...

– Ну, нет, что ты сделаешь?.. Нет бумаги... Горе какое, что ты скажешь? Дед, наверное, скурил...

Дед-древлянин на полатах лежит, любит дед махрой затянуться. Только бы газетина под руки, шась, – и на полати.

Лежит дед и думает:

«Газетин-то больших не стало ноне... К внуку в букварь забрался, внук разревелся, не приведи бог. Подумать бог вещь что случилось, на одну закрутку дед откромсал».

И вслух:

– Что ты, Маринушка, вот уж и скурил... Да я забыл, когда и курил...

А в серых глазах деда порхнула большая серая газетина, запахла махрой.

– Эх, курнуть бы...

Шарила Марина по хате, по углам, а бумаги не нашла. Касторий голову повесил, – как же быть без документа? Документ – первое дело...

10.

...Мужики затихли и сняли шапки. Члены земельной комиссии сели за стол, крытый кумачом. С боку стола сел высокий, жилистый, с жиденькой растительностью и большим

журавлиным носом секретарь комиссии. Мужики прозывали его Жердь. Жердь был гроза всех мужиков, ведущих судебные дела. Как паук, он высасывал последние соки с мужиков.

Председатель Дубонос был жирный, заплывший боров с узкими свиными глазами, злыми и хитрыми. Он потел, кричал, и казалось – вот-вот захрюкает от удовольствия.

У Кастория сосало под ложечкой и было не по себе.

Дубонос встал и торжественно заявил:

– Товарищи, объявляю заседание комиссии открытым.

Потом, сощутив заплывшие глазки, оглядел мужиков и добавил:

– Будет слушаться дело Алексея Страшного с Касторием Бараном о покосе.

Председатель протянул руку. Жердь вложил в нее список сторон.

– Страшный...

– Есть...

В скамейках зашевелились. На середину к столу вышел Алексей Страшный, одетый в новую нагольную шубу, поверх – серый армяк с цветным, праздничным поясом. Длинные волосы обильно смазаны салом. Алексей поплевал на ладошку и еще сильнее пригладил их, потом успокоился и стал как перед образом, словно собирался молиться...

– Баран...

– Тут...

Пол под Касторием закачался, куда-то стал уплывать. Язык онемел. Он стал в сторонку. Корявые руки, засоренные прошлогодней черноземной пылью, дрожали: Баран ни разу в жизни не судился, и ему было стыдно, словно сжулил что-то. Глаза у него разбегались и старались куда-нибудь спрятаться.

– Прошу сделать доклад, – председатель стал смотреть на мужиков.

Жердь развернул дело и стал читать:

В Горбулевскую волостную земельную комиссию.

Гр-на хутора «Кувшинки» Горбулевской волости Алексея Страшного

ПРОШЕНИЕ.

В 1918 году гр. деревни Топорки Касторий Баран захватил нахрапом десятину моего покоса в Кувшинках. За собственные деньги покос тот куплен был. Трудами нашими и детей наших на том покосе сделаны растеребы. А Баран три года косил, а деньги не платил. Теперича декрет есть: кто луговину удобрял, ухаживал, должна быть ворочена тому, потому прошу Горбулевскую волостную земельную комиссию вышеозначенный покос вернуть мне, Алексею Страшному, а Касторке Барану в покосе отказать.

К тому допросите моих свидетелей: Синицу, Осипа из хутора Поемы и Фоку Зуя сельца Воробьи Горбулевской волости.

Алексей Страшный.

Председатель вдруг вскочил:

– Стой, секретарь... Осип Синица, Фока Зуй...

– Здеся.

– Выходи, ребята, да не сюда, а с избы вон, потому свидетели... Читай дальше.

Жердь стал читать акт местного обследования:

Я, председатель районного совета Антип Охра, и секретарь, Герасим Королев настоящего числа составили акт о нижеследующем: спор идет об покосе Кувшинки.

Покос тот идет от озера Кувшинка справа на кривую сосну, а с кривой сосны – на зеленый камень, что у дуплистой березы, а с камня, по канаве на елку, которой макушку гром разбил, а при ней пень гнилой, потом опять – в озеро. Кругом обмерили, десять веревок вышло, считай около десятины спорного покоса, возов на десять сена. Покос тот действительно плинтован, канава рыта. Страшный на опросе заявил, что это его работа. При сем были понятые: Ефим Стук и Степка Гиль и о настоящем постановили написать этот акт за надлежащими подписями...

Председатель во время доклада сидел развалившись и перебирал глазами мужиков. Правый заседатель Коршун отвалился на спинку и глядел в потолок мутными глазами, а в голове у него мелькало:

«Овсеца забыл засыпать, а Дарья не догадается: бестолковая баба... В прошлом году сука щенилась, хороших кобелей поразвели... и чего это зима долго тянется?.. Страшный гусаком думает отделаться... Шалишь...»

Левый заседатель Асташев развалился обеими руками на столе, раскинул локти и из-за правого локтя поглядывал на секретаря и думал:

«Хитрющий человек... Жердь-то... чего гонит-то?.. а бес его знает... Касторку-то я знаю – трудящийся человек... Опять сегодня опоздаю, так и не угодишь к племяннику на именины».

Впереди, перед столом, сидели мужики корявые, нескладно одетые. Словно капустные кочны, по семь одеж на себя напялили и прели, как пни на болоте. Испарину давали, ворочались, кряхтели, и над скамьями стоял синий пар. Воздух тяжелел и становился ядренным, крепким, за нос захватывал.

Баран стоял, понутив голову. Толстый серый шарф, которым окутала Марина его шею на дорогу, походил на хомут. И сам весь Баран был похож на загнанную вспотевшую лошадь. Гнул под хомутом, но упрямо тянул поклажу.

Страшный был сытый, дородный, рыжая борода его горела золотом. Он с хитрецей поглядывал то на Дубоноса, то на заседателей...

Жердь окончил читать.

– Страшный...

– Я...

– Что скажешь по делу?..

Страшный сделал умильное лицо и был похож на голодную собаку, которая виляла хвостом и выпрашивала кусок:

– Что я могу сказать, товарищи?.., то самое, что луг нахрапом действительно взял вот этот самый Касторка и не хочет отдать теперь. Я хочу все как есть по закону, по декретам... Декреты говорят: вернуть землю. А Баран не ворочает. Который год самовольно косит Кувшинки. Всей волости известно, что Кувшинки я купил, и моя они собственность. Больше я ничего не могу сказать... Прошу вернуть мой покос.

– Вопросы есть? – обратился Дубонос к заседателям.

Заседатели мотнули головой. Правый думал:

«Хорошие кобели завелись. Надо на зайца сходить.

Снег выпал... зайца по снегу с собакой хорошо брать».

Левый сопел:

– Чего там долго канителить?.., выпили, закусили... все дело знаешь, а расспрашиваешь... У Жерди волосы седеют... Эх-хе-хе... стар бестия стал, а жулик... старый писарь...

Жердь бегло писал, трещало перо, шумела бумага, потом он сильно нажал на перо, поставил жирную точку и предложил Страшному:

– Распишись...

Страшный засуетился, заегозил, положил папаху на краюшек стола, бережно взял протянутую ручку, постучал пером о дно чернильницы и начал писать.

– Ну, ты что скажешь? – обратился Дубонос к Касторию.

Баран поднял глаза.

– Я не знаю, чего от меня хочет Алексей Страшный... сами, товарищи, знаете, что покос мне даден законно: Агап бумаги выдал за печатками.

Дубонос вскинулся:

– Законно... а бумаги-то твои с печатками где?.. Покажи...

– Потерял я, товарищ председатель...

– А не врешь, что потерял?.. Может быть, и не было?..

– Было, вот как бог свят...

– Ну, говори, говори.

– На чем же это я, а?..

Кастория смешался, пол поехал влево, потом вправо, потом вверх поднялся, а председатель Дубонос вниз поехал.

– Чего молчишь?.. Говори...

Баран собрался с силами:

– Больше я ничего не могу сказать... районный без меня покос обследовал... мне его власть отвела... я холил его, берег... не знаю, чего Алексей от меня хочет...

– Распишись, – торопил Жердь.

Баран дрожащей рукой вывел фамилию...

Над скамейками, над мужиками пар стоял. Красные, бородатые, лохматые мужики потонули в синей испарине. Воздух, как кирпич, отяжелел. Запахло овчинами, плотным хлебом, кислой капустой. Дубонос расстегнул пиджак.

– Позовите Синицу...

К столу протиснулся высокий, тощий мужик. Нос у него был малиновый: не раз заглядывал в стаканчик. Руки большие, жилистые, а лицо лисье. Синицу все знали в округе, как первого враля и бестолкового непутевого мужика.

– Что скажешь по делу?..

– По делу-то... все знаю... перво-наперво покос – Алексея Страшного, он канавы рыл нонечи, я собственными глазами видел... а Баран Касторка покосом никогда не пользовался, он соврал...

Жердь усиленно записывал.

Синица кончил показание.

– Фока Зуй...

На середину вышел низенький, толстенький мужичок с бабьим голосом. Со скамейки раздался голоса:

– Недоносок, а тоже в свидетели сунулся...

– Прош...у... соблю...д...а...т...ь ти...ши...ну.

– Что знаешь?..

– Я подтверждаю все, что Синица говорил...

– А откуда ты знаешь, что он говорил?..

– Я все слыхал...

Мужики загоготали:

– Свид...е...т...е...ль...

– Садись...

Судьи разом поднялись и ушли в каморку на совещание. В большой судной избе сразу все заговорили. Многие стали крутить и мусолить цыгарки.

У Страшного собрались мужички поплотнее одетые и подзадаривали:

– Ишь, молодчик... чужую собственность захотел присвоить... судьи его проучат... Ну, как сын твой, сват... что пишет из города... А ты, кум... го...го...го... Гы...гы...гы... О...О...О...

Мужики разошлись.

Касторий Баран стоял в уголке и думал про деда, про Маринку, про бобовиков-ребят, про Кувшинки...

«Ежели отнимут, пропал...»

Вошел суд. Судьи и мужики слушали.

Жердь отдельно читал:

«Рассмотрев обстоятельства настоящего дела и выслушав показания сторон и свидетелей, комиссия нашла, что луг всегда принадлежал Алексею Страшному, что документов у Кастория Барана на спорный луг не оказалось, что ухаживал за покосом и берег его Алексей Страшный, а потому, на основании декрета ВЦИК'а от 12 марта 1922 г., комиссия определяет:

Иск Алексея Страшного признать правильным и подлежащим удовлетворению. Касторию Барана в пользовании спорным покосом отказать».

11.

В глазах рябило от мертвящего снега-савана. И не был похож он на тот зимний осьмнадцатого года снег, который парчей горел.

В душе были пустота и темень. Дорога бежала, уныло изгибаясь.

Приехал во двор. В окно выглянуло тревожное лицо Марины. Выглянуло и скрылось. Она выбежала на улицу в одном ситцевом платочке и стала помогать мужу убирать лошадь.

Касторий молчал, и Марина понимала это молчание.

Сердце сжималось у ней от боли. Убрали коня, затащили под навес сани и пошли в избу. В сенях Марина охватила Кастория за голову:

– Не тоскуй, желанный мой, где-нибудь снимем покосцу... Не тоскуй, как-нибудь проживем без Кувшинок...

А у самой по розовым сдобным щекам текли слезы. Касторий бережно в опояску схватил корявыми, как корни, руками Марину и простонал:

– Кабы не ты, Маринка, удавился... Больно мне, Маринка; много надо мной насмеялись...

– Желанный ты мой...

– Ах, Кувшинки, Кувшинки... Сколько трудов положил!..

Взмахнул руками, обхватил упору в сенях и не стерпел, зарыдал, как малое дите.

12.

Дед Амос в больших, старых валенках топтался по избе и прикрикивал на ребят:

– Шш...шш... Шашки неугомонные... А ты тоже нюньки заодно с Маринкой распустил... Не мужик, а сопля... Садись сюда за стол, надо обтолковать, что и как... Маринушка, перестань убиваться... Садись сюда...

Строгий дед водворил в избе тишину.

– Проиграл... разве справедливо судили?..

Касторий сидел, опустив голову. Маринка ласково гладила белую волнистую головку подвернувшегося малыша.

Дед продолжал:

– Кто судил?.. кто судьи?.. Кумовья да сваты все. И Жердь не подгадил, суседи сказывали. Страшный боровка стащил... Эх, бедность, бедность наша.

– А ты вот что, малый, не убивайся. Чорт с ними, а мы все-таки правды достукаемся. А что, коли ежели...

Касторий безнадежно махнул рукой.

– А ты не махай больно-то, а выслушай. Когда срок копию выходит выбирать?..

– Две недели...

– А ты не откладывай, завтра пиши обжалование...

– А с чего писать? Деньгу надо.

Дед призадумался.

В избе царило молчанье. Дети притихли. Борода деда уперлась в стол. По слоновому лбу деда заползали червячки-морщинки. Закорюзлые пальцы деда теребили посконную рубаху.

Потом Марина подняла голову и тихо с болью для себя выговорила:

– Возьми две гусыни, поезжай в Горбулево: там напишут.

Дед вскинул седыми бровями:

– Гусыни... ого-го... Ни за что гусыни... Старые гусыни, они выводок к налетию дадут... Ни за что... Овечку-Малашку разве?.. Малашка хороша... – Опустил дед голову и думал про Малашку, про гусынь, про свинку, которую берегли. Как ни кинь все больно гоже в хозяйстве. Да делать нечего, и дед выдавил: – Пусть и гусыню... видно, черед их такой...

...В избу забирались зимние сумерки. В небе замелькали золотистые слезинки-звездочки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.